

### Человеческие ценности в медицине<sup>17</sup>

Я хотел бы поговорить о некоторых основоположных, непреложных человеческих ценностях в их связи с медициной и затронуть вопрос страдания вообще и вопрос смерти, ее места по отношению к нам, медикам, христианам, священникам, потому что я — так уж случилось — одновременно священник и бывший медик.

Сразу после войны, в связи с Нюрнбергским процессом и расследованиями относительно концентрационных лагерей, появились документы об использовании пленных в качестве подопытного материала для медицинских исследований. Не вдаваясь в обсуждение или описание фактов, я хотел бы подчеркнуть, что изначально, с точки зрения медицинской традиции, пациент никогда не может рассматриваться как предмет объективного исследования, с ним нельзя обходиться как с подопытным животным. Я думаю, медицина как отрасль человеческой деятельности занимает совершенно особое место именно потому, что наука в ней сочетается с ценностями, подходом, не имеющими ничего общего с наукой. В основе врачебного подхода — сострадание, а сострадание по самой своей природе ненаучно. Это человеческий подход, который может быть привнесен в любую отрасль человеческой деятельности, но медицины вовсе не существует вне сострадания, без сострадания. Медик, если он только человек науки, способный холодно, хладнокровно, бесстрастно делать то, что требуется, без всякого отношения к пациенту, медик, для кого главное не пациент, а действие врачевания, будь то лекарственное лечение, хирургическое вмешательство или иные методы, — не медик в том смысле, в котором я надеюсь, я хотел бы, чтобы мы все думали о медицине.

Я помню молодого врача (сейчас он занимает кафедру хирургии во Франции), с которым мы обсуждали перед войной аргументы за и против анестезии при той или иной операции, и он прямо заявил, что единственная цель анестезии — облегчить работу хирурга. Страдает ли пациент или нет — совершенно неважно. Я не преувеличиваю, он именно это говорил и имел в виду, он бы разделал пациента живьем, если бы это можно было сделать без помех, без того, чтобы операция не стала труднее и неудобнее для него, врача. Я также встретил во время войны молодого военнопленного хирурга. Он имел доступ к пленным солдатам и офицерам своей страны. Я предложил ему свои услуги в качестве анестезиолога. Он пожал плечами и сказал: «Мы имеем дело с солдатами, они должны быть готовы к страданию». И он оперировал без анестезии всякий раз, когда это не создавало проблем ему. Я помню одну из его операций. У солдата был огромный нарыв на ноге, при вскрытии которого врач отказался применить анестезию. Он оперировал без наркоза, солдат выл и ругался. Когда операция кончилась, к пациенту вернулось самообладание, и, будучи дисциплинированным и хорошо вымуштрованным солдатом, он извинился перед лейтенантом за свои выражения. И, я помню, тот ответил: «Ничего, ваши выражения были соразмерны вашей боли, я вас извиняю». Но ему и в голову не пришло, что боль была соразмерна его бесчеловечности и полному отсутствию чувства солидарности.

Я даю вам эти примеры потому, что, хотя такие ситуации встречаются не каждый день, люди теряют восприимчивость и порой в самой обычной ситуации могут быть столь холодны, до такой степени лишены человеческого сострадания, чуткости, что теряют право считаться медиками. Они мясники, техники, но не медики. Французский писатель Ларошфуко говорит: «У нас у всех достанет сил, чтобы перенести несчастья ближнего»<sup>18</sup>. Именно этого медик не вправе делать, таким он не может быть. В основе отношения врача

к пациенту, к проблеме болезни, ко всей этике и философии медицины лежит сострадание, чувство солидарности, уважение и благоговение перед человеческой жизнью, отдача тому единственному человеку, который сейчас перед ним. Без этого медицинская деятельность может быть чрезвычайно научной, но потеряет самую свою суть.

Однако сострадание не означает сентиментальность. Те из вас, из нас, у кого есть опыт трагических ситуаций, в хирургии или при неотложной медицинской помощи, особенно в напряженных обстоятельствах и ситуациях, прекрасно знают, что следует оставаться без эмоций, по крайней мере, пока мы заняты пациентом. Невозможно оперировать под обстрелом в состоянии волнения; стреляют по вам или нет, все ваше внимание должно быть сосредоточено на пациенте, потому что он важнее вас, вы существуете ради него, единственный смысл вашего бытия — он, его нужда. Сострадание — не сочувствие того рода, какое мы временами испытываем, которое порой ощутить легко, а порой вызывается ценой больших усилий воображения. Это не попытка испытать то, что чувствует другой, ведь это просто невозможно, никто не может пережить зубную боль своего ближнего, уж не говоря о более сложных эмоциях, в тот момент, когда человек узнает, что у него рак или лейкемия, что его подстерегает смерть, что ему предстоит умереть.

Но что нам доступно — это чувствовать боль, собственную боль по поводу чужого страдания. Это очень важное различие: надо пройти воспитание, надо решиться воспитывать в себе способность отзываться всем умом, всем сердцем, всем воображением на то, что случается с другими, но не стараться ощутить почти нутром, почти физически страдание, которое не наше, эмоцию, которая не принадлежит нам. Пациент не нуждается в том, чтобы мы ощущали его боль или его страдание, он нуждается в нашей творческой отзывчивости на его страдание и его положение, нуждается в отклике достаточно творческом, чтобы он подвигнул нас к действию, которое в первую очередь коренится в уважении, в благоговении по отношению к *этому* человеку. Не к анонимному пациенту, не к седьмой койке тринадцатой палаты, но к *человеку*, у которого есть имя, возраст, черты лица, у которого есть муж или жена, или возлюбленный, или ребенок. К кому-то, кто должен стать для нас до предела конкретным и чья жизнь, следовательно, значительна не только потому, что таково наше отношение к жизни вообще, не потому, что нас научили, что наша цель — оберегать жизнь, продлевать ее как можно дольше, но потому, что *этот* определенный человек, нравится он мне или нет, значителен.

Но для кого? На этот вопрос мы можем ответить по-разному, согласно нашей вере или ее отсутствию. Если мы христиане, если мы вообще верим в Бога, если мы верим, что никто не приходит в этот мир иначе как призванный быть, желанный, возлюбленный Богом любви, тогда этот человек значителен по крайней мере для Бога. Но (боюсь, это мы забываем очень легко) нет человека, который не был бы значителен хоть для кого-то. Это касается и злодеев, военных преступников, людей, которых мы обвиняем в бесчеловечности. Кто бы он ни был, у него есть мать, жена, брат, сестра. Возможно, самые близкие люди, действительно любящие того, кого — как представляется нам — следует не любить, а только осудить, знают лишь одну сторону его личности. Вполне возможно, что та сторона, которую знают они, столь же реальна, как та, которую знаем мы, но неизвестна им. В одной из глав «Архипелага ГУЛАГ» Солженицын подчеркивает тот факт, что человек, мужчина или женщина, совершенно по-разному предстает различным сталкивающимся с ним людям; и он цитирует разговор, который был ему передан. Один из самых жестоких следователей был женат, и однажды его жена, которая знала его под совершенно иным углом, сказала подруге: «Мой муж такой хороший следователь! Он рассказывал мне, что был заключенный, который неделями отказывался признаться в своих преступлениях, пока его не отправили к моему мужу, и после ночи беседы муж

вынудил у него полное признание»<sup>19</sup>. Эта женщина понятия не имела о том, каким образом это признание было получено. Она не знала мужа с этой стороны. Разумеется, это крайний пример, но никто из нас не знает других со всех сторон.

Мы очень мало знаем себя, мы и не подозреваем, каким человеком мы способны стать при неожиданных обстоятельствах, не под давлением, а просто потому, что мы внезапно растворяемся в анонимности. Столько случается с людьми во время войны, столь многое люди совершают из-за своей безликости: у человека нет имени, он просто один из множества солдат. Я настаиваю на этом, потому что очень легко в некоторых ситуациях сказать, что жизнь данного человека не имеет значения, в то время как жизнь другого важна. Оставляя в стороне ту абсолютную ценность, которую Бог придает каждому из нас, несомненно, что, если мы спросим самих себя или Писание, какова ценность каждого из нас в глазах Бога христиан, мы можем ответить: вся жизнь, вся смерть Христовы... Но, кроме того, как я уже сказал, никто, ни один человек в мире не одинок. Всегда есть кто-то, для кого он значителен, и наше отношение как медиков должно быть — благоговение к жизни, не просто в общих словах, но в конкретном призвании: *он* значителен, *она* значительна; как бы это мне ни было непостижимо, есть кто-то, для кого *его* смерть, *ее* страдание — острая боль и подлинная трагедия.

В отношениях между медиком и пациентом есть и другая сторона, которая также связана с чувством сострадания, человеческой солидарностью, с благоговением к его личному, единственному, неповторимому существованию. Это то, как пациент отдает себя в руки врача. Тут есть элемент, который представляется мне очень важным. Врач — это человек, у кого есть сознание значимости и, я бы сказал, священности человеческого тела. Пока мы здоровы, мы думаем о себе как о существах духовных. Конечно, у нас есть тело, которое позволяет нам передвигаться из одного места в другое, действовать, наслаждаться жизнью; мы обладаем пятью чувствами, у нас есть сознание, чувствительность — и все это мы рассматриваем в терминах нашего духовного бытия. Мы принимаем свое тело как нечто само собой разумеющееся, в каком-то смысле мы им пользуемся, как только можем, но никогда не думаем о нем (или думаем очень редко) как о партнере, равноправном с душой. Однако когда это тело слабеет, когда болезнь, боль поражают наше тело, тогда мы внезапно обнаруживаем, что мое тело — это я сам. Я — не мое смятенное сознание, не мои чувства, полные тревоги, я — то тело, которому теперь грозит гибель, которое полно боли. Болезнь эта — не обязательно рак, мы можем лезть на стену от зубной боли. Я однажды попробовал вести себя аскетически или героически: у меня разболелся зуб, и я решил, что буду просто терпеть — разве я не чисто духовное существо? Мой чистый дух терпел боль в течение дня все с большим трудом, затем настала ночь, и я не мог спать. Как ни странно, мой возвышенный дух не спал из-за моего жалкого тела. И около двух часов ночи я порылся в ящике с домашними инструментами и вырвал свой зуб клещами, которые обычно служили для вытаскивания гвоздей.

В тот момент я осознал, что странным образом мое тело и мое «я» можно было отождествить, они необычайно близки одно другому. Разве тот, кто болен — каждый из нас, все мы, — не обнаруживает, какое большое значение имеет наше тело? Что — если это тело разрушается, что — если оно становится непристойной, отвратительной, разлагающейся массой плоти и костей? Подумайте о проказе, подумайте о многих других заболеваниях, которые могут превратить наше тело в нечто отталкивающее, отвратительное. А затем подумайте о том, как вы приводите себя, вернее, как ваш величавый, прекрасный дух приводит это тело к врачу и говорит: «Вот я, беспомощный, без надежды, в страхе. Я болен, я не знаю, что мне делать, но ты — можешь спасти меня. Помогите, будь внимателен к этому телу, отнесись к нему с благоговением, отнесись к этому телу заботливо!» И как мы благодарны, когда врач, к которому мы пришли,

относится к телу с благоговением, целомудренно. Как мы бываем благодарны, когда обнаруживаем, что врач, которому мы доверили свое тело, понимает, что такое человеческое тело: что это не просто материальная оболочка для нашего возвышенного духа, что тело — это и есть *мы*; и это настолько верно, что, если нет этого тела, — *где я?*

Все это лежит в основе чисто человеческого отношения врача. Но существует множество проблем, прямо связанных с медицинской этикой. Я хотел бы остановиться на двух вопросах. Один из элементов клятвы Гиппократова, или старой врачебной клятвы, гласит, что врач будет сохранять жизнь и облегчать страдания больного. Практически вплоть до последней войны не возникало проблем относительно пределов деятельности врача. Лишь после войны ситуация вышла из-под контроля в том смысле, что сейчас мы располагаем лекарствами и овладели хирургическими и иными приемами, позволяющими унимать страдание до ранее недоступных пределов, успокаивать душевные муки и боль и продлевать жизнь. Так вот: до какого предела мы вправе зайти в этом направлении? Позволительно ли и возможно ли идти в этом направлении до бесконечности, или же есть критерии, которые позволят нам (или заставят нас) войти в сотрудничество со страданием и смертью? Я поясню слово «сотрудничество» одним примером.

Некоторые из вас, возможно, читали книгу Акселя Мунте, очень популярную в тридцатые годы книгу о Сан-Микеле<sup>20</sup>. Я читал ее давно и не могу вспомнить в деталях то, что хочу изложить вам, но суть вот в чем. Когда автор был молодым студентом-медиком в парижском госпитале Отель-Дьё (где и я начинал свое медицинское образование), сначала у него было впечатление, что суть медицины — в борьбе между врачом и его врагом: смертью. Смерть надо победить, смерть надо ненавидеть, смерть нельзя принять, ей надо противостоять любыми средствами. А затем, наблюдая за врачами, и особенно, возможно, за сестрами, он обнаружил в том, что касается пациента, гораздо более тонкое взаимоотношение между врачом и смертью. Есть период, когда можно бороться за жизнь, надежда велика, медицинские средства обнадеживают в большей или меньшей степени, и, действительно, надежда порой оправдывается. Но в иных случаях, с другими пациентами, несмотря на все что предпринято, жизнь не может сопротивляться натиску распада, болезни, будь то инфекция, рак, туберкулез или старость. И он с изумлением, а затем и с возрастающим интересом, с чувством, которое все углублялось в нем, заметил, что между врачом и смертью устанавливается новое взаимоотношение и что приходит момент, когда врач будто оборачивается к смерти и говорит: «Мое время прошло, настало твое время; давай сотрудничать, вступи, будь добра!»

Я думаю, это отношение к смерти очень важно, оно просто соответствует реальности жизни. Верующие мы или неверующие, мы все стоим перед тем фактом, что придет момент, когда борьба, сражение за то, чтобы человек не умер, превратит его тело, и ум, и сердце в поле битвы — все существо человека будет раздираемо, попираемо. Борьба будет идти не за этого конкретного человека, борьба будет анонимна. Это будет анонимная битва против смерти, безотносительно того, что сам человек претерпевает в процессе этой борьбы за его жизнь. Опыт показал мне (и я должен с грустью сказать, что мой опыт умирающих велик — в семье и вокруг, в годы войны, в годы обучения и работы в госпиталях, а также за все годы моего священства), что два рода людей спокойно встречают смерть. Они сравнительно редки. Это истинно верующие и искренние неверующие. Не могут смотреть в лицо смерти полуверки или те, кто верит на четвертушку, люди незрелые, люди, которые не верят в жизнь, в вечность, в Бога, но в то же время не уверены, что умирание означает полное уничтожение. Если бы можно было думать о смерти в терминах полного уничтожения, *небытия*, проблемы в каком-то смысле не было бы. Но беда в том, затруднение в том (вы ведь знаете, насколько ход мыслей в нашем сознании бывает лишен логики), что многие люди думают: да, но как ужасно будет

обнаружить, что меня больше нет... Вы смеетесь, но спросите себя, насколько вы бываете логичны в других областях и насколько вы уверены, что сами, думая о смерти — не чьей-то, а своей собственной, — не чувствуете, что будет ужасно впасть в небытие и увидеть: я — пустота, от меня ничего не осталось...

Разумеется, с точки зрения логики это абсурд, но очень многое в нашей жизни абсурдно. Люди неверующие, по-настоящему уверенные в полном своем уничтожении, могут умирать — я это видел, а также люди, которые встречаются со смертью в момент, в ситуации, которая придает смысл их смерти. Я вам дам пример. Мотивы его я похвалить не могу, но он хорошо иллюстрирует именно это отношение. Во время боев в 1940 году я был на фронте, принимал раненых, и мне сказали, что в углу нашей палатки двое умирающих немцев. Поскольку я говорю по-немецки, меня попросили сказать им несколько слов, чтобы им было не так одиноко умирать. Они были до того изрешечены пулями, что это не поддается описанию. Я обратился к одному из них и, просто чтобы что-то сказать, спросил: «Очень страдаешь?» Он на меня посмотрел угасающим взглядом и ответил: «Я не чувствую страдания — мы же вас бьем!» Я не хочу сказать, что причина, по которой он забыл о собственных страданиях, хороша сама по себе, но так же сказали бы мученики, так же сказала бы мать, если бы речь шла о жизни ее ребенка.

Мы можем смотреть в лицо смерти, если что-то придает ей смысл, если наша вера позволяет нам рассматривать смерть как один из этапов жизни, иначе мы на это не способны. Роль врача, дилемма для врача вот где. В реальной ситуации мы не спрашиваем, точнее вы не спрашиваете, пациента, что он думает о жизни и смерти. Вы заставляете его жить, вернее, не жить, а существовать, претерпевать жизнь. Вы продлеваете его жизнь, заставляете его пережить себя и претерпевать всю тяжесть, и боль, и тяготу этого выживания дольше, чем он бы хотел, и в этом этическая проблема для профессиональных медиков. Но как возможно разрешить эту проблему? Не иначе как учитывая человеческие ценности и немедицинские факторы, потому что, если у нас нет определенного отношения к жизни и ее ценностям, к смерти и ее месту и значению, нам не остается иного выбора, кроме как заставлять людей жить, пока они не смогут наконец со вздохом облегчения вырваться из наших рук и войти в покой. Но это проблема, с которой должны считаться практикующие медики, она должна быть предметом размышления студента-медика. Да, жизнь — высшая ценность, но является ли *жизнью* простое ее дление? Да, для христианина смерть — последний враг, которого надо победить, но является ли победой над смертью просто искусственное поддержание жизни в ком-то, в ком ее не осталось? Является ли искусственное продление жизни частью нашей человеческой борьбы за победу жизни над смертью? Я не решаю эту проблему за вас, я ставлю ее вам: у меня самого есть по этому поводу собственное мнение.

Надо принимать в учет и страдание. Нам теперь известны средства облегчать как физические страдания, так и душевные переживания и муку. Оправданно ли употребление этих средств? Вы, вероятно, сразу пожмете плечами и скажете: конечно, разве не в этом наша цель, разве не этого каждый, кто страдает, ожидает от нас? Возможно, и так, но в какой момент мы должны вмешаться, и до какой степени? Это опять-таки вопрос человеческих ценностей. Какова нравственная ценность личности, которая перед лицом тяжелой утраты предпочитает погрузиться в бесчувственность, предпочитает избежать боли, и страдания, и ужаса утраты? Что это говорит о взаимоотношении, какое было между этим человеком и тем, который умер? Такая позиция определяется отношением к жизни, и отношением к смерти, и отношением к себе, определяется страхом, определяется она очень многим, но достойна ли она человека, можно ли ее оправдать? Хотел бы кто-либо из нас, чтобы его жена, мать, дочь отказались принять горечь утраты его и сказали: «Я хочу забыться, я хочу чувствовать, будто он не умер или будто это не имеет

значения»? Что это говорит о человеческих взаимоотношениях, о которых мы твердим до бесконечности, до тошноты? Где моя любовь, если я скажу: «Теперь, когда любимый умер, любимая умерла, — лучше забыть об этом, лучше стать бесчувственным, потому что это меня расстраивает»? И еще: какова человеческая ценность того, кто настолько боится страдания, что от страха страдания никогда не посмотрит в лицо никакому физическому испытанию?

Я был воспитан, возможно, странным образом, но благодарен этому. Что касается смерти, я помню две фразы моего отца. Когда я был очень молод, мы говорили о смерти, и, не объясняя мне, что это такое, потому что этого надо дознаться самостоятельно, отец сказал мне: «Научись в течение всей жизни так ждать свою смерть, как юноша ждет свою невесту». И еще: «Помни: жив ты или мертв — не имеет значения, даже для тебя. Важно, ради чего ты живешь и ради чего ты готов умереть». Это относится к смерти, это относится и к страданию. Что я готов вынести? Чему меня научит врач в отношении моего страдания? Проще всего щедро снабжать пациентов успокоительными средствами, аспирином, фенobarбиталом и прочим, чтобы никто из них не страдал. Но какова цена этому? Только в преодолении трудностей наш характер крепчает, растет мужество, способность бороться и отстаивать наши ценности. Разве следует подрывать это, поощрять трусость, позволять людям жить в страхе и из-за страха уходить от вызова, который бросают нам жизнь, смерть, страдание?

С другой стороны — и это, думаю, вполне очевидно, — если начать облегчать боль, вы сначала способны выдерживать какую-то ее степень, а затем меньше, еще меньше, и когда вы уверены, что в любой момент можете быть избавлены от боли, вступает новое страдание: боязнь боли. Есть люди, которые принимают аспирин, чтобы не заболели зубы. Можно сказать: какое нам, врачам, дело? Пациент приходит, и мое дело — отозваться на его потребность. Нет, наше дело — не просто отозваться на его потребность, так же как дело священника — не просто отзываться на нужду. Мы не лавка, не ресторан, мы не цирк, наше дело — не просто раздавать то, что нам приказано раздавать. В современном обществе, где у людей — по крайней мере теоретически — возросло чувство общности, взаимной ответственности, солидарности (я не говорю о высших качествах любви, потому что она далеко выше нашего обычного уровня), мы обязаны ставить своего ближнего, и, разумеется, в первую очередь самих себя, перед требованием быть человеком. А быть человеком — великое дело, это подразумевает дерзание, бесстрашие, творческий подход. И все это не выше человеческих возможностей, только мы сами недостаточно используем свои возможности.

Я опять-таки думаю о Солженицыне. В какой-то момент он был задержан КГБ и имел одну из тех «милых» бесед, какие можно иметь с политическим сыском. Ему было сказано замолкнуть, больше не писать, не говорить, стать как все — и он отказался. Тогда ему сказали: «Вы уже были в тюрьме, в лагере, разве вы не понимаете, что мы можем с вами сделать?» И он ответил: «Да, вы уже сделали со мной все, что могли, и не сломили меня, и я вас больше не боюсь». Мы восхищаемся им, но можем ли мы подражать ему, если не готовы противостоять трудностям? Не воображаете ли вы, что пробыть несколько лет в тюрьме и концлагере — своего рода харизма, которая дает человеку бесконечную выносливость, героическое мужество? Нет, в тюрьму попадаешь, в лагерь отправляешься с тем количеством мужества, какое у тебя есть. Разумеется (и это другая сторона вопроса), если мы позволяем себе жить по самой низшей отметке, если удовлетворяемся тем, что пресмыкаемся, вместо того чтобы жить, если наша жизнь — трясина, когда она могла бы быть ключом, тогда, конечно, мы ничего не можем требовать от себя.

Я хотел бы дать вам пример и не богословский, и не медицинский. Во время одной из бомбардировок Парижа я был в увольнении и оказался на четвертом этаже дома с матерью и бабушкой. Мы никогда не спускались в убежище, потому что нам казалось, что лучше уж взлететь на воздух, чем быть погребенными под землей. Мы посидели, затем моя мать сделала очень заманчивое предложение — пойти на кухню, развести огонь из кучки усердно нами собранных щепок, согреть воды и назвать это чаем: это все, что у нас было. Она пошла на кухню, раздался взрыв, затем ее крик, и я подумал, что маму ранило. (Она никогда не боялась обстрела, она и до революции вела очень мужественную жизнь.) Я бросился на кухню и нашел мать на четвереньках на кухонном столе. Она указывала в угол и говорила: «Там... там...» — а там была мышь. Интересно, осознавали ли вы когда-нибудь, как трудно посмотреть на мышь? Она слишком мала, она далеко внизу. Посмотреть можно на что-то большое, что является вызовом для нас, но если смотреть на мышь, нет ни мыши, ни человека, — мы не умеем стать во весь рост перед этими мышами, сами делаемся маленькими, в их рост... пока нас не съест кошка.

Это приложимо к страданию, это приложимо к нашему отношению к смерти. Я верю и хотел бы, чтобы и вы верили, что в ответственном обществе, которое хочет построить град человеческий, достойный Человека (и для тех из нас, кто верующий, — град человеческий, который мог бы вырасти в град Божий), роль медика, как и священника, как и каждого члена общества, но в своем роде, — не уклониться от вызова, какой ставит нам жизнь, не быть тем, кто делает людей податливыми, трусливыми, беспомощными. Это профессия, у которой есть видение жизни, потому что у нас есть видение смерти и их противостояния, потому что у нас есть видение того, что такое человек, и благодаря этому видению мы не смеем позволить себе или кому бы то ни было быть ниже человеческого роста.

## Вопросы медицинской этики<sup>21</sup>

*Владыка, ты был верующим врачом, потом даже принял тайный монашеский постриг. Отличался ли твой подход к медицине от подхода неверующего, но добросовестного врача?*

Я думаю, что так резко разделять не всегда возможно, потому что в основе отношения верующего врача к пациенту лежит, с одной стороны, его вера, с другой — его отношение к человеку. Мне кажется, всякий врач знает и чувствует, что его призвание — во-первых, оберегать жизнь, делать ее возможной и выносимой, во-вторых, спасти человека от страдания — насколько это возможно. Я ограничиваю задачу словами «насколько возможно», потому что, разумеется, как бы ни прогрессировала медицина, есть какие-то области, где она всегда окажется бессильной.

Разница между верующим врачом и врачом неверующим мне видится в отношении к телесности, к телу. Для человека верующего человеческое тело — не просто материя, не просто «временный покров», который спадет с плеч. Плоть нам дается на всю вечность. Душа человека, дух человека и плоть составляют одно таинственное целое. Поэтому цель врача-христианина — не только продлить жизнь для того, чтобы душа человека, его сознание, психика могли продолжать действовать или чтобы человек продолжал совершать какое-то свое дело на земле. Врач-христианин благоговейно и целомудренно относится к *плоти*, которая призвана к вечной жизни и которая, если можно так выразиться, «сродни» плоти воплощенного Сына Божия. Я это очень переживал, когда действовал как врач, как хирург. Переживал как служение, почти как священнослужение.

*Можно ли сказать, что трепетное отношение верующего врача к телу пациента замедляет лечение, что, скажем, врач-материалист может быстрее взяться за какое-то лечение?*

Нет, не думаю. Любой врач — верующий, неверующий — стремится, сколько возможно, облегчить страдание и сохранить полноту жизни в человеке. Когда я говорю о полноте жизни, я хочу сказать: чтобы человек не только телесно продолжал существовать, а чтобы телесное существование было полноценное. Страдание не всегда можно снять, но человеку помочь (медицински или душевно) его вынести — можно. И человек может вырасти в громадную меру своего достоинства через это сотрудничество тела и души, в котором врач играет свою значительную роль, потому что он может поддерживать тело и может вдохновлять человека на жизнь.

*Так что тут есть очень важная и явная пастырская роль каждого врача и хирурга?*

Я думаю, что есть пастырская роль и что она должна выполняться именно в сознании общения с Богом. Когда я был врачом, то старался, перед тем как увижу пациента, помолиться, войти в себя, в молитвенный дух, с тем чтобы все, что я буду делать, исходило из какого-то глубинного общения между Богом, мной и этим человеком. Бывало, принимая пациентов, я вдруг чувствовал, что теряю связь со своей глубиной, значит — с Богом. Я тогда говорил находившемуся со мной пациенту: «Я не знаю, верующий вы или неверующий, но мне надо помолиться. Если вы верующий, помолитесь со мной, если вы неверующий — сидите смирно!» Я становился на колени перед иконой святого Пантелеймона и минуту-другую входил в себя. Христианин-врач должен совершать свое служение под Божиим руководством и никогда не разрешать себе таких действий, которые он перед Богом не мог бы оправдать.

Кроме того, можно говорить об очень глубоком сотрудничестве между пациентом и врачом. Сотрудничество должно существовать всегда, потому что пациент не может быть просто «объектом» лечения. Если он не сотрудничает, не понимает, что с ним происходит, не борется за жизнь, за цельность вместе с врачом, то лекарства не всегда могут помочь.

Когда я впервые оказался в больничной палате, меня потрясло одно — вера пациента в то, что врач к нему отнесется с благоговением и целомудрием, потому что он верит в добротность врача: человек, который нормально свою плоть закрывает от чужого взора, разрешает врачу видеть свое тело, прикасаться к телу. Этот момент делает возможной встречу на таком уровне, на котором иначе нельзя встретиться.

Подход врача не может быть просто «научным», в нем должны быть сострадание, жалость, желание помочь, уважение к человеку, готовность облегчить его страдания, готовность продлить его жизнь и порой — но это совершенно несовременный подход — готовность дать человеку умереть.

Сейчас проблема очень осложнилась технически, но помню, когда я поступил на медицинский факультет и впервые оказался в палате (это были ранние тридцатые годы), меня удивило, как старые сестры и опытные врачи делали все возможное для пациента, но в какой-то момент появлялось чувство, что теперь они его «отпускают». Я спросил одного врача: «Как же это можно? Разве вы не будете бороться до последнего мгновения?» И он ответил: «Знаешь, мы сделали все, что можно, мы дошли до предела, когда медицина больше не может его спасти или ему помочь. И теперь я стою у постели и говорю: „Смерть, я с тобой боролся и не давал тебе подступить к этому человеку. Теперь пришло твое время. Возьми этого пациента, и пусть конец его будет мирный и тихий“».



И конечно, тут врач играет какую-то свою роль: он может облегчить страдание, он может облегчить дыхание. Есть ситуации, когда врач, присутствуя при смерти, может сделать эту смерть возможно более легкой. Я старался в течение всех лет, когда был врачом, проводить последнюю ночь или последнее время с умирающим, именно чтобы он не был один. И иногда потрясающе, на какой глубине два человека могут общаться в молчании, в молитве.

И это может делать любой человек, я бы сказал, даже «неверующий»: человек, верующий в человечество — в себя как в человека, в другого как в человека и в то общение, которое между ними есть, ту общность, которая их соединяет. А если ты верующий, можешь спокойно знать, что ты во Христе и Христос в тебе и что, если ты не будешь выдумывать и надумывать чего-то, а просто будешь как можно более углубленно общаться с этим человеком, ты ему передашь нечто большее, чем сам знаешь, чем сам обладаешь.

*Владыка, расскажи о своем участии в семинарах Лондонской медицинской группы, посвященных христианскому отношению к больному, главным образом смертельно больному человеку.*

Эта группа была основана одним англиканским священником, у которого был глубокий и серьезный интерес к судьбе больных и к судьбе занимающихся ими врачей и сестер милосердия. В ней участвовали врачи, начиная с самых высококвалифицированных, студенты и сестры милосердия. И ударение делалось на то, что надо «очеловечить» отношения между врачом и больным, углубить отношения, которые должны существовать между умирающим и его окружением. Я читал медицинскому персоналу одну лекцию в год в течение всех двадцати пяти лет существования этой группы, и моя тема была — о смерти. Мы переходили из одной больницы в другую, и я каждый раз рассматривал тему с новой точки зрения, потому что, конечно, тема очень многогранная. Сначала я затрагивал тему с точки зрения самого больного, затем с точки зрения той бедненькой сестры милосердия, которая должна при нем быть, хотя она не подготовлена ни к смерти, ни к общению с умирающим, затем с точки зрения семьи и с точки зрения тех людей, которые могут помочь или не помочь.

*Сестра милосердия не подготовлена, потому что в медицинских школах это не проходили?*

В медицинских школах не затрагивались эти вопросы, и отношение к человеку, который тяжело болен или в опасности смерти, было всегда или очень формальное, или, если можно так выразиться, пугливое. Врач, видя, что не может человека исцелить, старался «скользнуть» мимо него: его похлопать по плечу, сказать несколько слов и пройти, оставив всю заботу — а она очень тяжела, — на сестрах милосердия и на семье. Причем, с моей точки зрения, было очень трагично, что старшие сестры этим не занимались — у них была очень большая чисто медицинская нагрузка. А занимались умирающими младшие сестры, которые уж никак не были подготовлены формально и которые по отсутствию житейского опыта очень мало что могли сделать.

А связь между врачами и семьей была очень слабая. Родными не занимались, не было как бы медицинско-пастырской заботы о них. И вопрос попечения о семье тоже ставился в наших обсуждениях.

Причем когда врач или сестра боятся или стесняются сказать родным больного: «Вот, он умирает», — это не просто сдержанность, а самозащита. Потому что сказать человеку: «Друг мой, над тобой висит смерть», — значит, что ты с ним должен пройти этот путь, это

уже ваше общее. Пока человек думает, что ты только ему делаешь впрыскивания или перевязки, это просто, ты вне, но в момент, когда у тебя такой разговор, никуда не уйти. А иногда такие дикие вещи приходилось слышать! На одном собрании я спросил старшую сестру госпиталя в Кардиффе: «Что вы делаете, когда доктор вам скажет: „Я осмотрел этого человека, он не выживет“?» Она ответила: «Я к нему иду, и если он мне ставит прямой вопрос, я ему косвенно отвечаю, и когда вижу волнение и беспокойство, говорю: „Да успокойтесь. Давайте попьем чаю!“ — и ухожу сразу, и оставляю его как можно дольше, чтобы он успел сам продумать свое состояние».

Сестра боится смерти, боится о ней сказать. К сожалению, это бывает даже с некоторыми священниками. Я читал доклад одного священника, который говорит между прочим: «Священник сможет помочь умирающему в меру собственного страха перед смертью...» Это же полное отрицание того, *что* можно сделать! Потому что, если ты сам боишься, ты никакой поддержки не можешь дать другому человеку.

*Тут возникает вопрос о правде — о правде и в медицинской, и в пастырской практике. Как относились те, с кем ты общался, к этому вопросу? Конечно, есть люди, которые просто боятся всякой правды...*

Знаешь, это трудный вопрос, он не ставится с такой простотой: неправда или правда. Неправду сказать очень легко, это проблемы не составляет. Ты знаешь, что человек умирает, и не хочешь быть вовлеченным в это драматическое положение и говоришь: «Нет, нет, все будет хорошо! Ты сейчас себя чувствуешь хуже, но это потому, что лекарства только начали действовать, ты сейчас успокоишься, будет лучше...» — и уходишь. Но правда не такая простая. Бросить в лицо: «Ты, дружок мой, при смерти, готовься к этому!» — нельзя всякому человеку. В такой форме никому нельзя сказать.

В течение всей болезни человека должна быть какая-то подготовка в этом отношении. Причем я много раз говорил студентам: готовьте умирающих не к смерти, а к вечной жизни. Не к тому, что: «Вот, ты умрешь, тебя похоронят, и конец», а к тому, что смерть — это переход.

*Но это можно говорить верующим или тем, кто помнит о своей вере, кто воспитан в христианской вере. Можно ли так говорить неверующим врачам и студентам?*

Я думаю, что в такой форме можно говорить даже не всякому верующему. Сказать: «Ты умираешь, но смерть не конец, а начало» — можно очень зрелому человеку. Но что можно сделать — это постепенно готовить человека к тому, что смерть перед каждым из нас лежит, поделиться с ним чем-то, что может его подкрепить. Я помню несколько случаев, когда мне приходилось сидеть у больного, умирающего, который мне говорил: «Мне страшно умирать, я себе не представляю, как это будет...» И я нескольким людям отвечал: «А я тебе расскажу, как моя мать умирала», или: «Я тебе расскажу, как во время войны умирал один солдатик, с которым я пробыл всю ночь». Чужой опыт может помочь, причем чужой опыт чем хорош: он в тебя не бьет.

*Как твои слушатели реагировали на это?*

Вначале — очень отрицательно: это, мол, против этики, наша роль — лечить людей, а не заниматься пастырством, для этого существует местный священник, существуют родные, это их дело. Мы родным объясняем: вот, ваш муж (или жена, или чадо) — в опасности смерти, вы должны его всячески поддерживать, мы не можем ручаться за то, что он выживет... — вот в такой форме.

Конечно, с кафедры научить человека, что делать с умирающими, невозможно.

*Занимались ли вы этими вопросами лишь с христианской точки зрения или в дискуссиях принимали участие и другие религиозные деятели?*

Были люди разных вероисповеданий. Но я всегда настаивал на том, что жизнь и смерть — явление универсальное и что я собираюсь читать доклад не с точки зрения православного христианина или христианина вообще, а с точки зрения человека, у которого есть какой-то медицинский опыт, какой-то человеческий опыт, что мы должны говорить с каждым человеком, не ставя вопрос о том, во что он теоретически верит. Во что он теоретически верит, когда он в хорошем состоянии, — одно, а то, что составляет его динамичность и силу жизни, — иногда другое. Бывают люди верующие, которые могут провозглашать свою веру с громадной силой, но перед лицом смерти вдруг оказываются, как маленькие дети, бессильны. Поэтому я всегда оговаривал, что буду говорить о людях вообще, независимо от их религиозных или философских убеждений. Если в каком-то данном случае их религиозные убеждения могут сыграть роль, нужно принимать это в учет, но в основе надо помнить, что всякий человек, который стоит перед смертью или чувствует, что смерть в нем бродит, в конечном итоге стоит в наготе своего человечества, и подходить надо с этой точки зрения.

*Можно ли сказать, что двадцать пять лет этой деятельности в конце концов оставили след в медицинской практике?*

Думаю, что да. Везде этот вопрос был поставлен, и поставленный вопрос не умирает. Потому что врач, перед которым встал этот вопрос, будет его встречать каждый Божий день в палате, он не сможет о нем забыть.

И еще одно. Первый свой доклад я начал со слов, которые удивили аудиторию, во всяком случае — часть ее. Я им сказал: «Вы пришли сюда для того, чтобы слушать, как надо готовить умирающего к смерти. Но для начала я вам напомню: первый, о ком вы думаете, это вы сами, потому что вы сами стоите перед своей собственной смертью. Если вы не решите этого вопроса для себя, то вы ни для кого его не решите...»

*Владыка, сейчас довольно широко обсуждается вопрос о возможности ускорить кончину безнадежно больного человека, который испытывает безумные муки. Как нам, духовенству, относиться к такому вопросу?*

Ускорить кончину человека, вмешаться в то, как развивается этот человек и уходит в вечность, — не простой вопрос. Я думаю, что тут смешиваются разные моменты. Первой должна быть поставлена задача усовершенствования всех способов лечения, которые могут освободить человека от невыносимых болей, сохраняя в нем ясность сознания. И пока это не будет универсально распространено, будет вставать вопрос: что сделать?

В данном вопросе есть разные степени. Бывает, что мы хотим освободить человека от страдания, но при большом риске. Вот риск, я думаю, можно брать на себя. Я помню один случай из своей врачебной практики, когда человек умирал от грудной жабы. Несколько суток он кричал от боли день и ночь. Местный врач ему прописал подкожные уколы морфия, которые не помогали. Я знал, что можно делать уколы в вену и боль прекратится, но что это может уменьшить срок его жизни, хотя и так никакого сомнения не было, что он умрет через несколько часов. Я решился сделать этот укол, сознавая, что этим могу сократить часы его жизни, но что эти часы он будет лежать в полном спокойствии.

Он прожил, кажется, еще пять или шесть часов. Лежал, разговаривал с женой и дочерью, разговаривал со мной, потом постепенно стал слабеть и уснул в вечность. Если бы я не сделал укола, он, может быть, прожил бы еще какие-нибудь пять или десять часов, но эти часы он провел бы в невыносимой муке и постоянном крике, который был нестерпим всем, кто его любил. Это не было нарушением каких-то медицинских или моральных правил.

Но думаю, что я не решился бы убить человека из-за того, что он говорит, что не может больше выносить свое страдание. Я сделал бы все, что медицински возможно, вплоть до общей анестезии. Помню, как во время войны умирал от столбняка молодой солдатик. Ты, наверное, знаешь, что при столбняке бывают такие судороги мускулов, от которых ломаются кости. Этот солдат был в конвульсиях в течение нескольких дней, и я ему периодически делал анестезию эфиром. На время он «уходил», но сделать большее я не считал себя вправе. Просто — называя вещи своими именами — *убить* человека мы не имеем права, хотя понимаем, что смерть все равно предстоит. Врач не призван прерывать жизнь, он призван делать жизнь выносимой. В данное время есть такое количество способов облегчения страданий, что лучше прибегать к этим средствам. И надо принимать в учет, что большей частью эти средства уменьшают сопротивляемость больного, уменьшают его способность жить долго. То есть как бы ускоряют смерть. Христианин верит, что со смертью жизнь не кончается, человек просто переходит в иную жизнь, в иное существование. Не помогает ли это как-то иначе осмыслить ускорение смерти?

Христианин знает, что за пределами смерти есть жизнь. Но имеет ли он право как бы за Бога решить, когда этот момент должен прийти, — это вопрос другой.

*Но ведь врач берет это решение на себя. Это становится его грехом, несмотря на то что просят об этом родные, просит умирающий. Тут есть жертвенный момент.*

Да, но в целом это очень скользкая почва. Слова «я на себя беру этот грех» можно распространить на множество ситуаций, когда человек поступает неправо, говоря: «Я беру это на себя, я буду перед Богом отвечать». Это очень рискованный подход, мне кажется.

*Мы говорим о болеутоляющих средствах. Должен ли врач-христианин нести уверенность и уметь передать ее, что в самом страдании есть спасительный смысл?*

Можно сказать человеку: «Попробуй вынести, попробуй собрать все свое мужество, всю свою веру, покажи окружающим тебя, что страдание не может победить твоей веры и твоей стойкости, будь для них примером...» Это все можно сказать, постольку поскольку человек в состоянии это принять. Но может настать момент, когда человек тебе скажет: «Я больше не могу!»

Да, мы говорим о положительной роли страдания. Но мы должны помнить, что положительную роль страдание имеет для человека только тогда, когда он его принимает, а не тогда, когда это страдание на него наложено, как пытка, которую он не понимает и не принимает. Можно страдать до крика от боли — и говорить: «Да, мне это невыносимо, но я знаю, что это имеет какой-то смысл по отношению к вечности». Но человек может кричать от боли или просто страдать, считая, что это совершенно напрасное, бессмысленное страдание, — потому что он ни во что не верит и, в сущности, хотел бы быть на положении животного, которому дают умереть, когда жизнь уже не в радость.

*Отчего же тогда мы из милосердия не даем страдать животным, когда им предстоит мучительная смерть, и решительно приближаем их конец?*

Мы не думаем о животном как о существе, которое уходит в вечную жизнь, — это одно. И с другой стороны, мы не думаем, что длительное страдание помогает животному созреть и вырасти, чтобы уже вполне готовым войти в вечность.

В случае с человеком положение иное, потому что мы верим, что все, что с ним происходит, его постепенно готовит к встрече с Богом. И мы знаем, что некоторые люди страдали очень тяжело, но принимали страдание и не отказались бы от него, потому что знали, что они его несут с какой-то целью, что они созревают сами или что они свидетельствуют о чем-то.

*Не говорит ли это о том, что следует воспитывать человека, готовить его, задолго до последнего заболевания, к тому, что каждого могут ожидать страдания? Как готовить всех нас?*

Видишь ли, я думаю, что не нужно говорить человеку, что может прийти момент едва выносимого страдания. Если всю жизнь жить с мыслью о том, что завтра будет катастрофа, то каждый день уже под тучей.

С другой стороны, меня и мое поколение воспитывали так: надо себя так тренировать, так готовить, чтобы выносить боль, нужду, страх, любую форму страдания до предела. Когда мы были мальчиками, нас в летних лагерях учили выносить усталость, холод, голод, боль. Делали упражнения, которые тогда назывались «воспитание характера»: физическое положение, которое вызывает боль, выдержать до предела, пока не упадешь от нее. Меня так воспитывали: не прибегать ни к каким облегчающим средствам, пока это выносимо. В современной практике как раз наоборот: как только появляется боль, ее облегчают. Больше того: часто люди принимают, скажем, аспирин на случай, что у них разболится голова.

*Насколько такое воспитание повлияло на тебя? Каково теперь твое отношение к любым испытаниям?*

Я остался при старом. То есть я не принимаю лекарств, пока не дошел до какого-то предела. Принцип тот: пока я могу функционировать, я не принимаю ничего. Я принимаю лекарство тогда, когда боль мне мешает делать свое дело. Я думаю, что это очень удобный способ. Ты отлично знаешь, что эта боль выносима; если перетерпеть немножко, она даже, вероятно, пройдет.

Вот случай времен войны. Я должен был донести до медпункта большую ношу лекарств. Шел я километр за километром, дождь лил как из ведра, вся дорога была сплошной лужей и слякотью. В какой-то момент, после шести-семи часов пути, я подумал: я больше не могу! Никакого санитарного пункта, никакой больницы не видно, лягу и отдохну или выплюсь... И тогда мне пришла мысль (мне кажется теперь, лучше бы ей не приходиться в такой форме; мне стыдно, что свое состояние я поставил в такой контекст): «Христос нес крест. Он нигде не остановился и дошел до Голгофы»... Я пошел дальше, и через сто метров оказалась больница, куда я шел.

Я думаю, что с физическим страданием при болезни часто бывает так: оно доходит до какого-то предела, и если только ты вынесешь и научишься не напрягаться, а как бы отдаваться, оно проходит.

*Чем это отличается от спартанского отношения?*

Я думаю, тем, что спартанец рассчитывает только на собственные силы, а верующий уверен, что ему, если будет нужда, Бог может помочь. Мне кажется этот момент очень значительным: Бог рядом с нами и готов вступить. Можно почти что сказать: Он настолько тут присутствует, что порой и без врача можно обойтись, собрав внутреннюю силу и принимая то, что с тобой случается, как дар Божий. Не как наказание Божие, а как обстоятельство, которое Бог тебе дает, чтобы ты оторвался от себя, обратился к Нему, стал лицом к лицу со своей совестью и в этом контексте посмотрел, что ты можешь делать. И если мы найдем в себе покой, внутренний строй, готовность бороться со всем тем, что не лежит в чисто физической, медицинской области, — то мы уже можем одержать если не всю победу, то половину ее.

*Полную победу — то есть исцеление?*

Бывает, что у человека та или другая болезнь исцеляется молитвой или причащением Святых Тайн. Я помню один случай, когда меня как врача не похвалили. В 1939 году у нас в детском лагере вдруг заболела девочка лет семнадцати. У нее оказался флебит ноги, родители нам не сказали, что ее только что оперировали от аппендицита, и мы, не зная этого, не приняли никаких мер. В лагере тогда была одна моя соученица с медицинского факультета, она ее осмотрела — картина была совершенно ясная. Мы вызвали врача из больницы соседнего городка, который определил то же самое. Перед тем как ехать лечь в больницу, эта девочка исповедалась, причастилась Святых Тайн. Мы ее везли через вспаханные поля на маленьком автомобиле, и трясло так, что она могла бы не только флебит иметь, но и еще какие-нибудь осложнения. Привезли ее в больницу, тот же врач ее осмотрел, повернулся ко мне и говорит: «И вы претендуете на то, что вы — врач? Вы что, не видите, что никакой болезни у этой девочки нет?!» — и отправил нас домой. Она обратилась к Богу, очистила душу покаянием, приняла Святые Тайны во исцеление души и тела — и была исцелена.

*Это можно назвать чудом. Может ли верующий человек считать это нормой?*

Это не может быть нормой в том смысле, что к этому нельзя прибегать автоматически, так же, как мы прибегаем, скажем, к аспирину, чтобы не болела голова. Надо поставить себя перед лицом Божиим, очистить свою совесть, отдать себя в руки Божии и получить от Него те дары, которые Он нам захочет дать, — и это может быть путем к исцелению. Чудо не может быть автоматически — в том смысле, что мы не можем требовать от Бога: «Я к Тебе обратился, а Ты меня должен исцелить!» Но мы можем открыться Богу настолько, чтобы болезнь или прошла, или стала нам во спасение. Я помню, мне на Афоне в единственный раз, когда я посетил Святую гору, монах сказал, что не надо бороться за то, чтобы совершенно прошла болезнь, потому что болезнь нам напоминает о нашей хрупкости и нас учит предавать себя в руку Божию. А лечиться надо, постольку поскольку это нам дает возможность действовать и жить.

*Не следует ли из этого, что в жизни верующего человека нет места врачу, лечению?*

Нет, я думаю, что есть место; и то, и другое должно быть применяемо. Если ты заболеваешь (не простудой, конечно, а чем-нибудь серьезным), ты можешь обратиться к Богу, поставить себя перед Его лицом, очиститься, причаститься Святых Тайн, попросить о том, чтобы тебя помазали святым елеем, и вместе с этим обратиться к врачу. Потому что Священное Писание нам говорит, что Бог создал и лекарства, и врача и порой в его руке исцеление наше (Сир 38:1—14). О том же самом говорит Амвросий Оптинский: надо обращаться к врачу, потому что это знак какой-то доли смирения. Нельзя сказать: «Я своими молитвами и своей полной отдачей Богу обеспечу свое здоровье». Можно сказать:

«В руки Твои, Господи, предаю дух мой» — и быть готовым к тому, что ты будешь и дальше болеть и умрешь. Но если речь идет об исцелении — а порой *надо* бороться за здоровье и за силы, потому что у тебя задача, которую Бог тебе дал, — в таком случае надо обратиться и к врачу, но не оставляя в стороне и духовное исцеление. То есть, стоя перед Богом, знать, что, останешься ли ты жив, будешь ли ты здоров или нет, в конечном итоге — в Его руке и что ты хочешь только одного: «Да будет воля Твоя, а не моя, Господи».

*Владыка, уже давно в медицине установилась практика пересадки органов. Как относится к этому Православная Церковь, вообще христианство?*

Православной Церковью не было сделано никаких авторитетных высказываний. Но я думаю, что вопрос стоит так: должен ли, имеет ли право врач применять любой способ лечения, чтобы спасти жизнь человека и ему помочь остаться живым? Это первое и основное. Если мы принимаем, что роль врача именно в том заключается, чтобы сохранить, уберечь жизнь или, сколько возможно, вернуть человеку здоровье, то пересадка органов — частный случай. Может быть, сейчас он ставит очень много вопросов, потому что это новое явление. Но было время, например, когда не давали анестезии при родах на каком-то принципиальном основании, а теперь никто на это основание никакого внимания не обращает.

Я не думаю, что могут быть какие бы то ни было всецерковные запреты. Но могут быть возражения и богословов, и просто благочестивых людей: можно ли нарушить целостность человеческого организма? Причем организма не только телесного, а организма всего человеческого существа — тела, души и духа. Ведь они составляют одно целое. Дух и душа влияют на тело: тело является проводником очень многого, что доходит до души человека. Можно вспомнить, например, слова апостола Павла: *вера от слышания* (Рим 10:17). Не будь слышания, ты никогда не узнаешь, что проповедник или верующий тебе хочет передать.

Это ставит вопрос: справедливо ли, можно ли перенести какой-нибудь орган — я сейчас думаю, в частности, о сердце — одного человека в другого? То сердце, которое билось в человеке, было как бы центром всей его жизни, физического благополучия, обеспечивая в значительной мере и мышление, и чувства, и переживания. Можно ли это сердце из человека как бы вырвать и заменить его сердцем другого человека, который жил совершенно иной жизнью, в ком был совершенно иной душевно-духовный строй?

Лично у меня чувство, что есть вещи пусть и не идеальные, но которые *можно* делать ради того, чтобы сохранить жизнь человеку и дать ему возможность действовать дальше.

*Но это не чужая жизнь? Если вопрос о сердце ставится именно так, как ты его поставил, — не есть ли это как бы вторжение чуждой жизни?*

Я думаю, что человек может включить в себя орган из другого организма, если можно так выразиться, его «переработать» на свой лад, «усвоить», сделать своим, так, чтобы он принял участие во всей его жизни: в физическом благополучии, в переживаниях и, может быть, если слушать мистиков и некоторых врачей, в духовно-мистической его жизни. Я бы сказал, что пересадка возможна. Желательна ли она — это иной вопрос в каждом случае.

*В идеале, может быть, стоило бы спрашивать, пока еще не поздно, согласия умирающего на такую пересадку? Может быть, он был бы рад дать согласие, потому что это как раз дар — дар своего сердца, дар своей жизни?*

Я согласен с твоей постановкой. Я думаю, что, насколько возможно, надо было бы получить разрешение того человека, сердце которого будет пересажено. И тут могут быть две ситуации. Сейчас очень распространяется система карточек, в которых человек заявляет, что в случае собственной смерти он готов отдать здоровые органы своего тела другому человеку. Иногда можно ставить вопрос иначе по отношению к человеку, который идет к своему концу и у кого такой карточки нет: можно спросить его. Но тут громадная проблема: можно ли всякого человека, не подготовленного духовно, нравственно, спросить: «Вот, сейчас вы умрете, — можно ли из вас извлечь ваше сердце или тот или иной орган?» Мне кажется, что надо было бы трудиться над распространением таких карточек, где человек заранее, когда он еще здоров, когда его не пугает собственная смерть, может принять такое решение.

*Возвращаясь к реакции Православной Церкви на пересадку органов: как насчет мнения, что тело свято, что оно богоданное целое?*

За историю христианства многое менялось в этом отношении. Когда-то говорилось о том, что нельзя принимать те или другие способы лечения, потому что это нарушение воли Божией. Я думаю, что тут надо не то что идти со временем, но надо, если уж говорить в широком масштабе, понимать, что тело, которое воскреснет в последний день, не состоит из всех костей, мускулов, кожи, составляющих человека в какой-нибудь момент, — просто потому, что за целую жизнь весь состав нашего организма меняется постоянно. Раньше говорилось (и я думаю, что это верно), что каждые семь лет человеческий организм обновляется. Это не то же самое тело, хотя это тело того же самого человека. Новые клетки родились, которые стали частью этого организма, новые силы родились в нем и включились в его жизнь. Поэтому невозможно говорить, что в день последнего воскресения наши тела восстанут такими, какие они сегодня, а не какие они были вчера или будут через три недели. Речь идет о том, что наша телесность будет воскрешена, в каком виде и как — мы не имеем никакого понятия и никаких указаний в этом отношении. Поэтому речь идет не о том, чтобы сохранить в целостности тело данного человека, какой он есть сегодня. Речь о том, чтобы дать возможность этому телу продолжать жить и действовать и принимать творческое участие во всей целокупности жизни этого человека: его умственной жизни, жизни его сердца, любви.

Человек, который завещает свое тело в целом или частями для спасения других людей, жизнь свою кладет «за други своя». Он, конечно, не умирает нарочно, но он заранее говорит, что готов, как только умрет, на то, чтобы его тело было употреблено для жизни другого человека. Мне это представляется даром, который человек имеет право принести и который мы имеем право принять с благоговением, с трепетом душевным. Это замечательный поступок.

*Иногда родственники жертвуют тот или другой орган еще при своей жизни, что требует, наверное, еще больше внимания и любви...*

Да, это бывает. Скажем, родители, братья, сестры, друзья отдают близкому человеку тот или другой орган, который у них есть как бы «вдвойне» (например, почку), отдают какие-то частицы своего тела, особенно кровь. Это постоянно делается, и никто не возмущается. И вот что примечательно: когда речь идет о пересадке органов, люди начинают ставить вопросы, а когда говорится о переливании крови от человека к человеку, люди идут на это



совсем спокойно, тогда как в Ветхом Завете (напр., Лев 17:11—14; Втор 12:23) и даже в сознании всемирном кровь — носитель жизни, твоей собственной неповторимой жизни<sup>22</sup>.

Жертвенный подход может быть проявлен и со стороны пациента. Например, я думаю, что можно сказать человеку: «Вот, у вас такая-то болезнь. У нас есть сейчас способ ее лечить, который не проверен и может быть опасен, может вызвать у вас страдание или быть убийственным. Согласились ли бы вы использовать этот метод лечения, зная, что он может нам помочь сделать громадный шаг вперед для исцеления других людей, — даже если это вам причинит страдания, даже если это вас убьет?» И я думаю, что такие люди встречаются. Мне не приходилось ставить вопрос в такой форме, с такой резкостью, но есть люди, которые отдают себя на какой-нибудь эксперимент, — не как бессознательные кролики, а зная, что их это может спасти или не спасти, но поможет спасти тысячи людей, если опыт окажется оправданным.

*Иногда врачу приходится решать: кому пересадить орган и тем спасти этого человека, кому отказать в таком средстве...*

Я думаю, что это один из самых трудных вопросов медицинской практики, не только по отношению к пересадке органов. Он встает постоянно, скажем, во время войны. Перед тобой несколько раненых. Ты не можешь спасти всех. На кого ты обратишь больше внимания? Ты выбираешь того, который может выжить, — и за его счет кто-нибудь умрет. Ты не обязательно выбираешь того человека, которого тебе хотелось бы спасти, ты решаешь вопрос только в контексте данной ситуации.

По отношению к пересадке органов вопрос стоит так же. Один больной — отец семьи, он единственный зарабатывает на жизнь и может обеспечить семью. Другой — выдающийся ученый. Если он умрет, наука и человечество потеряют что-то очень важное. Еще другой человек очень молод, перед ним вся жизнь. Как решать? И вот тут приходится принимать — как бы сказать? — «бессердечные» решения. Взвесить все возможности, потому что иногда пересадка почти наверняка удастся, иногда успех ее очень сомнителен; и если речь идет о выборе, то и это приходится принимать в учет. Когда рассматриваешь такую нужду, перед тобой и другой вопрос: не всякий организм может принять пересадку из любого другого организма. Поэтому делается очень тщательное исследование совместимости, хотя абсолютной уверенности никогда нет. Но если в одном случае уверенность большая, в другом меньшая — это играет важную роль. Это решение отчасти профессиональное, тут важны твои знания, твой опыт, все, чем тебя наделила наука. С другой стороны, иногда встает душу разрывающая нравственная проблема. Дадим ли мы умереть юноше, спасти которого умоляют его родители, потому что думаем: нет, он не сможет принять этот орган, или: он не выживет больше одного-двух лет, тогда как другой человек этот орган может принять и прожить дольше?

Думаю, что по отношению к врачу можно было бы сказать то, что святой Максим Исповедник говорил о богослове: у него должно быть пламенное сердце и ледяной мозг. С одной стороны, ты должен пламенеть состраданием, любовью, всеми самыми глубокими человеческими чувствами, освященными еще и твоей верой, с другой стороны, ты не имеешь права отдаться порыву сердца без того, чтобы очень хладнокровно, строго взвесить с научной точки зрения и с человеческой точки зрения то решение, которое ты примешь.

И это дилемма, на которую нельзя дать пропись. Нельзя сказать: надо спасать таких-то и не спасать других. Ты принимаешь решение, которое в каждом отдельном случае и

рискованно, и мучительно, потому что, если ты даже одного человека отстранишь, у тебя разрывается сердце.

*В наше время есть возможность исправить всеобщее здоровье человеческого рода. Но это значит, что человек как бы вмешивается в Божеские дела. Как ты на это смотришь?*

Скажу, во-первых, что вмешательство человека происходило все время. Мы только играем в прятки, когда говорим, что в таком-то случае мы вмешиваемся, в другом не вмешиваемся. Каждый раз, когда врач дает какое бы то ни было лекарство, он вмешивается. Каждая операция — вмешательство. Каждое изменение условий жизни, хотя бы санаторий, — тоже вмешательство. Надо говорить очень прямо и просто, что бывает необходимость вмешиваться как в состояние здоровья отдельного лица, так и в состояние родового здоровья данной генетической линии. Это решение очень ответственное, но все зависит от того, во что ты вмешиваешься. Если у человека болезнь, которую он будет передавать из рода в род, и ты можешь пресечь эту передачу болезни, — да, ты вмешался раз и навсегда, и за это тебя будут благодарить. Скажем, если прекратить в родовой линии гемофилию, то этим можно спасти целый ряд мужчин, которым была бы передана эта болезнь генетически, от трагической жизни и еще более трагической смерти, и в этом ничего предосудительного нет. Этим ты не создаешь нового рода человека, не похожего на богосозданного человека. Ты просто исправляешь то, что в течение тысячелетий случилось генетически или иначе и что можно прекратить ради счастья не только данного человека, но и целого ряда других людей. Если же ты вмешиваешься и стараешься создать новый род человека — это недопустимо, потому что предполагает, что те люди, которые вмешиваются, заранее знают, куда это приведет, и хотят создать человека, отвечающего их представлениям.

*Владыка, трудный и трагический вопрос — вопрос аборта. Конечно, он ставится «ретроспективно», когда женщина приходит на исповедь и кается в совершенном. Но как быть, если женщина приходит к тебе в медицинской нужде и просит твоего совета, может быть, и благословения? Ведь аборт как таковой Церковь запрещает...*

Я думаю, что вопрос этот более сложный, чем он кажется людям, которые просто читают церковные правила. В поучительном наставлении духовнику перед исповедью ясно указано, что аборт является убийством и за ним следует запрещение причащаться в течение минимум двадцати лет. Так что с этой точки зрения ясно: Церковь рассматривала аборт так же строго, как убийство.

В этом отношении меня очень поразила фраза, которую я услышал раз от мирянина, даже не от священника, в разговоре с женщиной, которая хотела сделать аборт. Он ей поставил вопрос: «А как вы думаете: жизнь, которая начинается в вас, когда делается жизнью человека? Или вы думаете, что до какого-то момента вами будет выброшен не человек?» Она ответила: «Думаю, что после нескольких недель зародыш, может быть, уже принимает образ человека, но не ранее того». И собеседник ей сказал: «А как вы думаете: зачатие Христа совершилось в момент Благовещения или через 24 недели?» И меня это очень поразило. Потому что, действительно, Христос, Сын Божий, принял плоть в *этот* момент, а не когда-то позже.

Церковь — правда, не выражая вещи в такой форме — рассматривает проблему в этих же категориях: что в момент, когда две клетки, женская и мужская, соединились и началось развитие нового существа, это существо *уже* человек. Поэтому говорить, что выкинуть зародыш до какого-то момента позволительно и нельзя после, медицински можно, но

нравственно нельзя. Медицински, я думаю, бывают случаи, когда аборт допустим: когда ребенок живым не родится, мать может умереть при родах. Это не общественный вопрос, это не вопрос веры или неверия. Это чисто медицинский вопрос о том, будет ли зачатое существо жить или умрет при рождении, не погубит ли это существо по медицинским причинам свою мать и себя.

Есть еще один вопрос: дети, которые рождаются ущербными — или физически изуродованными, или психически неполноценными... Вот тут вопрос очень сложный. Некоторые женщины настолько хотят ребенка, что готовы идти на то, чтобы родился ребенок, который *заведомо* будет всю жизнь страдать физически или психически. Они идут на это потому только, что «хотят иметь ребенка». Это мне кажется чисто эгоистическим подходом, такие матери *о ребенке* не думают. Они думают о *своем* материнстве, о том, как они изолят на этого ребенка всю свою ласку и любовь. Но многие из таких матерей не знают, способны ли они ласку и любовь проявить к ребенку, который у них вызывает физическое отвращение, ужас.

*Тем не менее урод тоже является человеком, а есть правило, что человека нельзя убивать. Как тогда подходить к этому вопросу?*

Честно говоря, не знаю, как к нему подойти. Я думаю, есть случаи, когда лучше бы ребенку не родиться на свет, чем родиться страшно изуродованным психически или физически. Когда думаешь: вот, родился ребенок... Пока он еще малюсенький, это еле заметно, но этот человек вырастет, ему будет двадцать лет, и тридцать, и еще столько лет, и в течение всей жизни ничего, кроме физической или психической муки, не будет. Имеем ли мы право присуждать человека на десятилетия психического и физического страдания потому только, что хотим, чтобы этот ребенок родился и был *моим* сыном, *моей* дочерью?

Я не знаю, как это канонически обусловить, но медицински, думаю, тут есть очень серьезный вопрос, который можно решать врачу, даже верующему, в этом порядке. Я видел таких детей, которые рождались и были искалечены на всю жизнь, видел, *что* совершалось в результате с психикой матери, отца и их взаимными отношениями.

А иногда бывает чисто безнравственный подход. Например, недавно я читал о том, как чета, в которой мать передавала гемофилию, настаивала, чтобы у них рождались дети, хотя знала, что они будут погибать, но — «мы хотим детей». В данном случае, конечно, выход был бы не в аборте, а либо в воздержании, либо в противозачаточных средствах — законных и не представляющих собой никакого уродства.

*С какой точки зрения ты говоришь такие вещи, Владыка: это жалость к человеку, или можно сказать, что это подлинно христианский подход?*

Ты мне ставишь очень трудный вопрос — в том смысле, что я не могу сказать, что я зрелый и совершенный христианин, который может ответить как бы от имени Христова. Могу только сказать, на основании очень теперь длинной жизни, что речь идет не о том, чтобы пересматривать существующие церковные правила, но надо задуматься, при каких условиях они были провозглашены, что люди знали о жизни, о смерти, о зачатии в тот момент, когда были определены те или другие правила. И для меня несомненно, что некоторые правила применимы в той области, в которой они соответствовали знанию. Но когда появляется новое знание, новое понимание, приходится не каноны изменять, а задумываться над тем, в какой мере и в какой полноте мы их можем применять — или имеем право не применять.

И это мы делаем постоянно. Когда человек приходит на исповедь, мы, например, никогда не применяем существующих правил об отлучении от Церкви, о лишении причастия на десятки лет. И не потому, что мы безразлично к этому относимся, а потому, что цель всякого закона и всякого применения закона — спасение человека, помощь ему. Я не могу разделить в себе человека, христианина, епископа, врача. Бывают ситуации, в которых я взял бы на себя ответственность поступить так или иначе, потому что в уродливом мире, в котором мы живем, применять абсолютные идеальные правила — нереально. Надо эти правила рассматривать именно как идеальную мерку и применять все, что возможно, в той мере, в какой оно соответствует росту, спасению и жизни — в самом сильном смысле слова.

*Как верующему — да и не только верующему — относиться к искусственному оплодотворению женщины?*

Если у данной женщины нет возможности иметь ребенка естественным образом, то можно взять семя ее собственного мужа, ее этим семенем оплодотворить. Это мне кажется вполне законным, потому что иногда бывает такое состояние здоровья или организма, когда мужчина не может оплодотворить свою жену. Но если речь идет о том, чтобы женщину, которая не может от своего мужа получить семя, оплодотворить семенем, происходящим откуда-то, мне кажется, что велика вероятность возникновения (даже ниже уровня сознания, а где-то в подсознании) отчуждения между ее мужем и ребенком: это *не его* ребенок, это сын или дочь *его жены*, но он сам тут ни при чем. И это положение хуже, чем положение мужчины, женившегося на женщине, у которой есть дети от предыдущего брака. Тут он точно знает, на что идет. Знает свою возлюбленную, знает ее детей, знает, с кем она рассталась, и готов это все принять, тогда как в упомянутом случае он оказывается перед лицом неизвестного существа.

*Значит, мы уже говорим о таинстве брака, об основном элементе супружеской жизни...*

Да, потому что если мы говорим с точки зрения верующих, то, конечно, не можем обойти этот подход. Брак не есть просто способ размножения. Брак в своей основе является вершиной взаимоотношений двух существ, которые соединены *любовью*. Замечательно, что один из отцов Церкви, кого я сейчас не могу назвать, не помню его имя, говорил, что телесное соединение мужа и жены можно сравнить только с соединением верующего со Христом в причастии Святых Тайн... Вот — уровень. И поэтому для верующего вопрос стоит более, может быть, сурово. Не говоря уже о том, что, если муж или жена не могут иметь детей по своему физиологическому состоянию, это можно принять как волю Божию. Не обязательно всеми способами стремиться это превозмочь, следует принять это вдумчиво. Может быть, Господь хочет остановить этот род, может быть, Он хочет создать между этими мужем и женой отношения, которые — я бы не сказал: выше, но — совершенно иные, нежели те, которые были бы при наличии детей.

*Как быть, если муж или жена несет заболевание, с которым медицина еще не умеет справляться, но которое не следует передавать последующему поколению? Должны ли они просто воздерживаться от половых отношений?*

Я думаю, что в идеале — да, но это в значительной мере нереально. Нужна огромная духовная зрелость и сила, чтобы молодой жене и молодому мужу отказаться от брачного телесного соединения. Но тогда может вступить другой элемент — врачебный, медицинский. Они могут сказать: мы хотим прекратить передачу этой неизлечимой болезни нашим детям, внукам, потомкам... Это может быть сделано хирургически и по отношению к жене, и по отношению к мужу, может быть сделано и иным образом. Я

считаю это вполне законным вмешательством, потому что его цель не в том, чтобы дать возможность мужу и жене телесно общаться без «риска» иметь детей, а в том, чтобы не могло появиться потомство, которое впоследствии, может, будет их проклинать за то, что ему передали эту болезнь.

*Тут есть две возможности: одна — не до конца надежная — противозачаточные средства, вторая — стерилизация. Как относиться к тому и к другому?*

Думаю, можно относиться положительно и к тому, и к другому. Вопрос, конечно, стоит гораздо острее в связи со стерилизацией, потому что это какое-то медицинское вмешательство. Но я думаю, что — опять-таки, если намерение верно, если цель достойная — стерилизация вполне законна. Противозачаточные средства не всегда надежны. Аборт совершенно исключен Церковью и, я бы сказал, здравым человеческим чувством. А стерилизация, с моей точки зрения, — такая же нравственно законная мера, как противозачаточные средства.

*В заключение вопрос: каковы официальные церковные взгляды в области медицинской этики?*

Я думаю, что Православная Церковь в целом за последние столетия не ставила этих вопросов, не обсуждала и не решала их<sup>23</sup>. Но, с другой стороны, не было времени, когда Церковь — не то что по слабости или податливости, но по глубокому своему разуму — не делала различия между намерениями. Если ты стремишься, чтобы не зародился ребенок, потому что находишься в такой нищете, что этот ребенок умрет с голоду, — это одно. Если ты не хочешь иметь ребенка потому, что ищешь себе беспечной жизни, — это определенно греховно.

Я думаю, что Церковь молчит отчасти потому, что те, кто должен был бы выражать церковные взгляды, в громадном своем большинстве, в лице епископов, являются монахами, поэтому они не стоят перед лицом конкретной проблемы в своей жизни или в жизни очень близких людей вокруг. И отчасти — потому, что у нас в Православной Церкви нет традиции вникать в конкретные проблемы и предлагать конкретные решения или наставления.

*Для этого надо бы создать хорошую комиссию на должном уровне, где участвовали бы не только архиереи и богословы, но и врачи, генетики?*

Очень было бы хорошо! Для этого нужно, во-первых, чтобы Церковь признала наличие проблем, во-вторых, этих людей заранее не связывать ничем из прошлого, а только евангельской истиной и учением святых отцов. Причем — не рассуждениями отцов с точки зрения культуры или науки их времени. Я имею в виду, что нельзя, например, основывать современное мировоззрение о начале творения на писаниях святого Василия Великого, который не имел понятия об очень многом, что мы теперь знаем достоверно. Его нравственное суждение — одно, а его научная подготовка — другое. Современная наука и опыт человечества раскрывают нам Евангелие по-иному, и Евангелие раскрывает нам современные ситуации совершенно иным образом, чем в средние века.

*Так что ни давние высказывания святых отцов, ни общецерковное молчание не должно препятствовать нашей умственной и духовной работе?*

Думаю, что Церковь будет молчать, может быть, еще долго. Но люди, которые являются Церковью, должны думать и ставить перед собой вопросы, и сколько умеют — лично, в

одиночку и группами или широкими общинами — их как бы предварительно решать и подносить Церкви возможное решение тех или иных вопросов, на которые Церковь не давала или не дает определенных ответов.

*«Подносить Церкви» — это интересное выражение. Что оно означает? Подносить общему сознанию Церкви, или Церкви, которая собрана в Поместном соборе или во Вселенском соборе?*

И то, и другое. С одной стороны, вопросы должны быть поставлены всему церковному народу. С другой — и вопросы, и предварительные ответы должны быть поднесены Церкви в более узком смысле слова: епископату, богословам и тем ученым, которые могут быть привлечены к пониманию этих вопросов.

Если ждать, чтобы Вселенская Церковь высказалась на ту или другую тему, то, скажу честно, можно успокоиться и знать, что «когда-нибудь» — да, это будет, но не во время моей жизни. Вопрос идет о том, что сделает Русская Церковь или Греческая Церковь, что думает та или другая Церковь. Замечательные вещи говорил архиепископ Павел Финляндский, он был на десять шагов впереди других Церквей. А о грядущем Всеправославном соборе говорится уже лет тридцать<sup>24</sup>, — я буду в могиле, когда он соберется...

## Смерть<sup>25</sup>

Меня просили сказать нечто о смерти — о подготовке к ней и о том, как можно думать о смерти и встречать ее. В завершение я хотел бы поговорить о некоторых обрядах Православной Церкви, связанных со смертью, о том, что происходит с телом усопшего и как мы относимся к этому телу, которое было проводником всего, что делала душа.

### Память смертная

Для начала я хотел бы попытаться рассеять отношение к смерти, которое выработалось у современного человека: страх, отвержение, чувство, будто смерть — худшее, что может с нами произойти, и что надо всеми силами стремиться выжить, даже если выживание очень мало напоминает настоящую жизнь.

В древности, когда христиане были ближе и к своим языческим корням, и к волнующему, потрясающему опыту обращения, к откровению — во Христе и через Него — Живого Бога, о смерти говорили как о рождении в вечную жизнь. Смерть воспринималась не как конец, не как окончательное поражение, а как начало. Жизнь рассматривалась как путь к вечности, войти в которую можно открывшимися вратами смерти. Вот почему древние христиане так часто напоминали друг другу о смерти, вот почему в молитвах, которые, как драгоценное наследие, передал нам Иоанн Златоустый, есть строки, где мы просим Бога дать нам *память смертную*. Когда современный человек слышит подобное, он обычно реагирует неприятием, отвращением. Означают ли эти слова, что мы должны помнить: смерть, точно дамоклов меч, висит над нами на волоске, праздник жизни может трагически, жестоко окончиться в любой момент? Являются ли они напоминанием при всякой встречающейся нам радости, что она непременно пройдет? Значат ли они, что мы стремимся омрачить свет каждого дня страхом грядущей смерти?

Не таково было ощущение христиан в древности. Они воспринимали смерть как решающий момент, когда окончится время делания на земле, и, значит, надо торопиться, надо спешить совершить на земле все, что в наших силах. А целью жизни, особенно в

понимании духовных наставников, было — стать той подлинной личностью, какой мы были задуманы Богом, в меру сил приблизиться к тому, что апостол Павел называет *полнотой роста Христова* (Еф 4:13), стать — возможно совершеннее — неискаженным образом Божиим.

Апостол Павел в одном из Посланий говорит, что мы должны дорожить временем, потому что *дни лукавы* (Еф 5:16). И действительно, разве не обманывает нас время? Разве не проводим мы дни своей жизни так, будто наскоро, небрежно пишем черновик жизни, который когда-то перепишем начисто, будто мы только собираемся строить, только копим все то, что позднее составит красоту, гармонию и смысл? Мы живем так из года в год, не делая в полноте, до конца, в совершенстве то, что могли бы сделать, потому что «еще есть время»: это мы dokonчим позднее, это можно сделать потом, когда-нибудь мы напишем чистовик. Годы проходят, мы ничего не делаем, — не только потому, что приходит смерть и пожинает нас, но и потому, что на каждом этапе жизни мы становимся неспособными к тому, что могли сделать прежде. В зрелые годы мы не можем осуществить прекрасную и полную содержания юность, и в старости мы не можем явить Богу и миру то, чем мы могли быть в годы зрелости. Есть время для всякой вещи, но когда время ушло, какие-то вещи уже осуществить невозможно.

Я часто цитирую слова Виктора Гюго, который говорит, что есть огонь в глазах юноши и должен быть свет в глазах старика<sup>26</sup>. Яркое горение затухает, наступает время светить, но когда настало время быть светом, уже невозможно сделать то, что могло быть сделано в дни горения. Дни лукавы, время обманчиво. И когда говорится, что мы должны помнить смерть, это говорится не для того, чтобы мы боялись жизни, — это говорится для того, чтобы мы жили со всей напряженностью, какая могла бы у нас быть, если бы мы сознавали, что каждый миг — единственный для нас, и каждый момент, каждый миг нашей жизни должен быть совершенным, должен быть не спадом, а вершиной волны, не поражением, а победой. И когда я говорю о поражении и о победе, я не имею в виду внешний успех или его отсутствие. Я имею в виду внутреннее становление, возрастание, способность быть в совершенстве и в полноте всем, что мы есть в данный момент.

## Ценность времени

Подумайте, каков был бы каждый момент нашей жизни, если бы мы знали, что он может стать последним, что этот момент нам дан, чтобы достичь какого-то совершенства, что слова, которые мы произносим, — последние наши слова, и поэтому должны выражать всю красоту, всю мудрость, все знание, но также и в первую очередь — всю любовь, которой мы научились в течение своей жизни, коротка ли она была или длинна. Как бы мы поступали в наших взаимных отношениях, если бы настоящий миг был единственным в нашем распоряжении и если бы этот миг должен был выразить, воплотить всю нашу любовь и заботу? Мы жили бы с напряженностью и с глубиной, иначе нам недоступными. И мы редко сознаем, что такое настоящий миг. Мы переходим из прошлого в будущее и не переживаем реально и в полноте настоящий момент.

Достоевский в дневнике рассказывает о том, что случилось с ним, когда, приговоренный к смерти, он стоял перед казнью, — как он стоял и смотрел вокруг себя. Как великолепен был свет, и как чудесен воздух, которым он дышал, и как прекрасен мир вокруг, как драгоценен каждый миг, пока он был еще жив, хотя на грани смерти. «О, — сказал он в тот миг, — если бы мне даровали жизнь, ни одно мгновение ее я не потерял бы...»<sup>27</sup> Жизнь была дарована — и сколько ее было растеряно!

Если бы мы сознавали это, как бы мы относились друг ко другу, да и к себе самим? Если бы я знал, если бы вы знали, что человек, с которым вы разговариваете, может вот-вот умереть и что звук вашего голоса, содержание ваших слов, ваши движения, ваше отношение к нему, ваши намерения станут последним, что он воспримет и унесет в вечность, — как внимательно, как заботливо, с какой любовью мы бы поступали! Опыт показывает, что перед лицом смерти стирается всякая обида, горечь, взаимное отвержение. Смерть слишком велика рядом с тем, что должно бы быть ничтожно даже в масштабе временной жизни.

Таким образом, смерть, мысль о ней, память о ней — как бы единственное, что придает жизни высший смысл. Жить в уровень требований смерти означает жить так, чтобы смерть могла прийти в любой момент и встретить нас на гребне волны, а не на ее спаде, так, чтобы наши последние слова не были пустыми и наше последнее движение не было легкомысленным жестом. Те из нас, кому случилось жить какое-то время с умирающим человеком, с человеком, который осознавал, как и мы, приближение смерти, вероятно, поняли, что присутствие смерти может означать для взаимных отношений. Оно означает, что каждое слово должно содержать все благоговение, всю красоту, всю гармонию и любовь, которые как бы спали в этих отношениях. Оно означает, что нет ничего слишком мелкого, потому что все, как бы ни было оно мало, может быть выражением любви или ее отрицанием.

### **Личные воспоминания: смерть матери**

Моя мать три года умирала от рака. Ее оперировали — и unsuccessfully. Доктор сообщил мне это и добавил: «Но, конечно, вы ничего не скажете своей матери». Я ответил: «Конечно, скажу». Помню, я пришел к ней и сказал, что доктор звонил и сообщил, что операция не удалась. Мы помолчали, а потом моя мать сказала: «Значит, я умру». И я ответил: «Да». И затем мы остались вместе в полном молчании, общаясь без слов. Мне кажется, мы ничего не «обдумывали». Мы стояли перед лицом чего-то, что вошло в жизнь и все в ней перевернуло. Это не был призрак, это не было зло, ужас. Это было нечто окончательное, что нам предстояло встретить, еще не зная, чем оно скажется. Мы оставались вместе и молча так долго, как того требовали наши чувства. А затем жизнь пошла дальше.

Но в результате случились две вещи. Одна — то, что ни в какой момент моя мать или я сам не были замурованы в ложь, не должны были играть, не остались без помощи. Никогда мне не требовалось входить в комнату матери с улыбкой, в которой была бы ложь, или с неправдивыми словами. Ни в какой момент нам не пришлось притворяться, будто жизнь побеждает, будто смерть, болезнь отступают, будто положение лучше, чем оно есть на самом деле, когда оба мы знаем, что это неправда. Ни в какой момент мы не были лишены взаимной поддержки. Были моменты, когда моя мать чувствовала, что нуждается в помощи, тогда она звала, я приходил, и мы разговаривали о ее смерти, о моем одиночестве. Она глубоко любила жизнь. За несколько дней до смерти она сказала, что готова была бы страдать еще сто пятьдесят лет, лишь бы жить. Она любила красоту наступавшей весны, она дорожила нашими отношениями. Она тосковала о нашей разлуке: *But O for the touch of a vanish'd hand, and the sound of a voice that is still!*<sup>28</sup> В другие моменты мне была невыносима боль разлуки, тогда я приходил, и мы разговаривали об этом, и мать поддерживала меня и утешала о своей смерти. Наши отношения были глубоки и истинны, в них не было лжи, и поэтому они могли вместить всю правду до глубины.

Кроме того, была еще одна сторона, которую я уже упоминал. Потому что смерть стояла рядом, потому что смерть могла прийти в любой миг, и тогда поздно будет что-либо



исправить — все должно было в любой миг выражать как можно совершеннее благоговение и любовь, которыми были полны наши отношения. Только смерть может наполнить величием и смыслом все, что кажется мелким и незначительным. Как ты подашь чашку чая на подносе, каким движением поправишь подушки за спиной больного, как звучит твой голос — все это может стать выражением глубины отношений. Если прозвучала ложная нота, если трещина появилась, если что-то неладно, это должно быть исправлено немедленно, потому что есть несомненная уверенность, что позднее может оказаться слишком поздно. И это опять-таки ставит нас перед лицом правды жизни с такой остротой и ясностью, каких не может дать ничто другое.

### **Слишком поздно?**

Это очень важно, потому что накладывает отпечаток на наше отношение к смерти вообще. Смерть может стать вызовом, позволяющим нам вырастать в полную нашу меру, в постоянном стремлении быть всем тем, чем мы можем быть, — без всякой надежды стать лучшими позднее, если мы не стараемся сегодня поступить как должно. Достоевский, рассуждая в «Братьях Карамазовых» об аде, говорит, что ад можно выразить двумя словами: «Слишком поздно!»<sup>29</sup>. Только память о смерти может позволить нам жить так, чтобы никогда не сталкиваться с этим страшным словом, ужасающей очевидностью: *слишком поздно*. Поздно произнести слова, которые можно было сказать, поздно сделать движение, которое могло бы выразить наши отношения. Это не означает, что нельзя вообще больше ничего сделать, но сделано оно будет уже иначе, дорогой ценой, ценой большей душевной муки.

Я хотел бы проиллюстрировать свои слова, пояснить их примером. Некоторое время назад пришел ко мне человек восьмидесяти с лишним лет. Он искал совета, потому что не мог больше выносить ту муку, в какой жил лет шестьдесят. Во время гражданской войны в России он убил любимую девушку. Они горячо любили друг друга и собирались пожениться, но во время перестрелки она внезапно высунулась, и он нечаянно застрелил ее. И шестьдесят лет он не мог найти покоя. Он не только оборвал жизнь, которая была бесконечно ему дорога, он оборвал жизнь, которая расцветала и была бесконечно дорога для любимой им девушки. Он сказал мне, что молился, просил прощения у Господа, ходил на исповедь, калялся, получал разрешительную молитву и причащался — делал все, что подсказывало воображение ему и тем, к кому он обращался, но так и не обрел покоя. Охваченный горячим состраданием и сочувствием, я сказал ему: «Вы обращались ко Христу, Которого вы не убивали, к священникам, которым вы не нанесли вреда. Почему вы никогда не подумали обратиться к девушке, которую вы убили?» Он изумился. Разве не Бог дает прощение? Ведь только Он один и может прощать грехи людей на земле... Разумеется, это так. Но я сказал ему, что если девушка, которую он убил, простит его, если она заступится за него, то даже Бог не может пройти мимо ее прощения. Я предложил ему сесть после вечерних молитв и рассказать этой девушке о шестидесяти годах душевных страданий, об опустошенном сердце, о пережитой им муке, попросить ее прощения, а затем попросить также заступиться за него и испросить у Господа покоя его сердцу, если она простила. Он так сделал, и покой пришел... То, что не было совершено на земле, может быть исполнено. То, что не было завершено на земле, может быть исцелено позднее, но ценой, возможно, многолетнего страдания и угрызений совести, слез и томления.

### **Смерть — отделенность от Бога**

Когда мы думаем о смерти, мы не можем думать о ней однозначно, либо как о торжестве, либо как о горе. Образ, который дает нам Бог в Библии, в Евангелиях, более сложный.

Говоря коротко, Бог не создал нас на смерть и на уничтожение. Он создал нас для вечной жизни. Он призвал нас к бессмертию — не только к бессмертию воскресения, но и к бессмертию, которое не знало смерти. Смерть явилась как следствие греха. Она появилась, потому что человек потерял Бога, отвернулся от Него, стал искать путей, где мог бы достичь всего помимо Бога. Человек попробовал сам приобрести то знание, которое могло быть приобретено через приобщенность знанию и мудрости Божиим. Вместо того чтобы жить в тесном общении с Богом, человек избрал самость, независимость. Один французский пастор в своих писаниях дает, может быть, хороший образ, говоря, что в тот момент, когда человек отвернулся от Бога и стал глядеть в лежащую перед ним бесконечность, Бог исчез для него, и поскольку Бог — единственный источник жизни, человеку ничего не оставалось, кроме как умереть.

Если обратиться к Библии, нас может поразить там нечто, относящееся к судьбе человечества. Смерть пришла, но она овладела человечеством не сразу. Какова бы ни была в объективных цифрах продолжительность жизни первых великих библейских поколений, мы видим, что число их дней постепенно сокращается. Есть место в Библии, где говорится, что смерть покорила человечество постепенно. Смерть пришла, хотя еще сохранялась и сила жизни, но от поколения к поколению смертных и греховных людей смерть все укорачивала человеческую жизнь. Так что в смерти есть трагедия. С одной стороны, смерть чудовищна, смерти не должно бы быть. Смерть — следствие нашей потери Бога. Однако в смерти есть и другая сторона. Бесконечность в отлученности от Бога, тысячи и тысячи лет жизни без всякой надежды, что этой разлуке с Богом придет конец, — это было бы ужаснее, чем разрушение нашего телесного состава и конец этого порочного круга.

В смерти есть и другая сторона: как ни тесны ее врата, это единственные врата, позволяющие нам избежать порочного круга бесконечности в отделенности от Бога, от полноты, позволяющие вырваться из тварной бесконечности, в которой нет пространства, чтобы снова стать участниками Божественной жизни, в конечном итоге — участниками Божественной природы (2 Пет 1:4). Потому апостол Павел мог сказать: *жизнь для меня — Христос, и смерть — приобретение* (Флп 1:21), потому что, живя в теле, я отделен от Христа (2 Кор 5:6)... Потому что в другом месте он говорит, что для него умереть не означает совлечься себя, сбросить с плеч временную жизнь, для него умереть означает облечься в вечность (2 Кор 5:4). Смерть не конец, а начало. Эта дверь открывается и впускает нас в простор вечности, которая была бы навсегда закрыта для нас, если бы смерть не высвободила нас из рабства земле.

### **Двойственное отношение**

В нашем отношении к смерти должны присутствовать обе стороны. Когда умирает человек, мы совершенно законно можем сокрушаться сердцем. Мы с ужасом можем смотреть на то, что грех убил человека, которого мы любим. Мы можем отказываться принять смерть как последнее слово, последнее событие жизни. Мы правы, когда плачем над усопшим, потому что смерти не должно бы быть. Человек убит злом. С другой стороны, мы можем радоваться за него, потому что для него (или для нее) началась новая жизнь — жизнь без ограничений, просторная. И опять-таки мы можем плакать над собой, над нашей потерей, нашим одиночеством, но в то же время мы должны научиться тому, что Ветхий Завет уже прозревает, предсказывает, когда говорит: *крепка, как смерть, любовь* (Песн 8:6), — любовь, которая не позволяет померкнуть памяти любимого, любовь, которая дает нам говорить о наших отношениях с любимым не в прошедшем времени: «Я любил его, мы были так близки», а в настоящем: «Я люблю его, мы так близки». Так что в смерти есть многосложность, можно даже, быть может, сказать —

двойственность, но если мы — собственный Христов народ, мы не имеем права, из-за того что сами глубоко ранены потерей и осиротели по-земному, не заметить рождения усопшего в вечную жизнь. В смерти есть сила жизни, которая достигает и нас.

Если же мы признаем, что наша любовь принадлежит прошлому, это означает, что мы не верим в то, что жизнь усопшего не прекратилась. Но тогда приходится признать, что мы неверующие, безбожники в самом грубом смысле слова, и тогда надо посмотреть на весь вопрос с совершенно другой точки зрения: если Бога нет, если нет вечной жизни, тогда случившаяся смерть не имеет никакого метафизического значения. Это просто природный факт. Победили законы физики и химии, человек вернулся в дление бытия, в круговорот природных элементов — не как личность, а как частица природы. Но в любом случае мы должны честно взглянуть в лицо своей вере или ее отсутствию, занять определенную позицию и поступать соответственно.

### **Еще личные воспоминания**

Трудно, почти невозможно говорить о вопросах жизни и смерти отрешенно. Так что я буду говорить лично, быть может, более лично, чем понравится некоторым из вас. В своей жизни мы встречаемся со смертью в первую очередь не как с темой для размышления (хотя и это случается), а большей частью в результате потери близких — наших собственных или чьих-то еще. Этот косвенный опыт смерти и служит нам основой для последующих размышлений о неизбежности собственной смерти и о том, как мы к ней относимся. Поэтому я начну с нескольких примеров того, как я сам встретился со смертью других людей, быть может, это пояснит вам мое собственное отношение к смерти.

Мое первое воспоминание о смерти относится к очень далекому времени, когда я был в Персии, еще ребенком. Однажды вечером мои родители взяли меня с собой посетить, как тогда было принято, розарий, известный своей красотой. Мы пришли, нас принял хозяин дома и его домочадцы. Нас провели по великолепному саду, предложили угощение, и мы ушли домой с чувством, что получили самое теплое, самое сердечное, ничем не скованное гостеприимство, какое только можно представить. Только на следующий день мы узнали, что, пока мы ходили с хозяином дома, любовались его цветами, были приглашены на угощение, были приняты со всей учтивостью Востока, сын хозяина дома, убитый несколько часов назад, лежал в одной из комнат. И это, как ни мал я был, дало мне очень сильное чувство того, что такое жизнь и что такое смерть и каков долг живых по отношению к живым людям, какие бы ни были обстоятельства.

Второе воспоминание — разговор времен гражданской или конца первой мировой войны между двумя девушками; брат одной, который приходился женихом другой, был убит. Новость дошла до невесты, она пришла к своей подруге, его сестре, и сказала: «Радуйся, твой брат погиб, геройски сражаясь за Родину». Это опять-таки показало мне величие человеческой души, человеческого мужества, способность противостоять не только опасности, страданию, жизни во всем ее многообразии, всей ее сложности, но и смерти в ее голой остроте.

И тогда (и это следует продумать гораздо глубже, чем сумел сделать я, но я это очень остро пережил сердцем на протяжении прошедшей Страстной седмицы), если Христос — дверь, открывающаяся на вечность, Он есть *смерть наша*. И это можно даже подтвердить отрывком из Послания к Римлянам, который читается при крещении: там говорится, что мы погрузились в смерть Христову, чтобы восстать с Ним (Рим 6:3—11). И другим местом Послания, которое говорит, что мы носим в теле своем мертвость Христову (2 Кор 4:10). Он — смерть, и Он — сама Жизнь и Воскресение.

## Смерть отца

И еще последний образ: смерть моего отца. Он был тихий человек, мало говорил, мы редко общались. На Пасху ему стало нехорошо, он прилег. Я сидел рядом с ним, и впервые в жизни мы говорили с полной открытостью. Не слова наши были значительны, а была открытость ума и сердца. Двери открылись. Молчание было полно той же открытости и глубины, что и слова. А затем настала пора мне уйти. Я попрощался со всеми, кто был в комнате, кроме отца, потому что чувствовал, что, встретившись так, как мы встретились, мы больше не можем разлучиться. Мы не простились. Не было сказано даже «до свидания», «увидимся»; мы встретились — и это была встреча навсегда. Он умер в ту же ночь. Мне сообщили, что отец умер; я вернулся из госпиталя, где работал; помню, я вошел в его комнату и закрыл за собой дверь. И я ощутил такое качество и глубину молчания, которое вовсе не было просто отсутствием шума, отсутствием звука. Это было сущностное молчание — молчание, которое французский писатель Жорж Бернанос описал в одном романе<sup>30</sup> как молчание, которое само — Присутствие. И я услышал собственные слова: «А говорят, что есть смерть... Какая ложь!»

## Соприсутствие с умирающим

Бывает умирание иное. Я помню молодого солдата, который оставлял после себя жену, ребенка, ферму. Он мне сказал: «Я сегодня умру. Мне жаль покинуть жену, но тут ничего не поделаешь. Но мне так страшно умирать в одиночестве». Я сказал ему, что этого не произойдет: я буду сидеть с ним, и пока он будет в состоянии, он сможет открывать глаза и видеть, что я здесь, или разговаривать со мной. А потом он сможет взять меня за руку и время от времени пожимать ее, чтобы убедиться, что я здесь. Так мы сидели, и он ушел с миром. Он был избавлен от одиночества при смерти.

С другой стороны, порой Бог посылает человеку одинокую смерть, но это — не оставленность, это одиночество в Божием присутствии, в уверенности, что никто не ворвется безрассудно, драматически, не внесет тоску, страх, отчаяние в душу, которая способна свободно войти в вечность.

Последний мой пример касается молодого человека, которого попросили провести ночь у постели умиравшей пожилой женщины. Она никогда не верила ни во что вне материального мира, и теперь она покидала его. Молодой человек пришел к ней вечером, она уже не отзывалась на внешний мир. Он сел у ее постели и стал молиться; он молился, как мог, и словами молитв, и в молитвенном безмолвии, с чувством благоговения, с состраданием, но и в глубоком недоумении. Что происходило с этой женщиной, вступавшей в мир, который она всегда отрицала, которого никогда не ощутила? Она принадлежала земле — как могла она вступить в небесное? И вот что он пережил, вот что, как ему казалось, он уловил, общаясь с этой старой женщиной через сострадание, в озадаченности. Поначалу умиравшая лежала спокойно. Затем из ее слов, возгласов, ее движений ему стало ясно, что она что-то видит: судя по ее словам, она видела темные существа, у ее постели столпились силы зла, они кишели вокруг нее, утверждая, что она принадлежит им. Они ближе всего к земле, потому что это падшие твари. А затем вдруг она повернулась и сказала, что видит свет, что тьма, теснившая ее со всех сторон, и обступившие ее злые существа постепенно отступают, и она увидела светлые существа. И она возвала о помиловании. Она сказала: «Я не ваша, но спасите меня!» Еще немного спустя она произнесла: «Я вижу свет». И с этими словами — «я вижу свет» — она умерла.

Я привожу эти примеры для того, чтобы вы могли понять мое отношение к смерти, почему я вижу в ней славу, а не только скорбь и утрату. Я *вижу* и скорбь, и утрату.

Примеры, которые я вам дал, относятся либо к внезапной, либо к насильственной смерти — смерти, которая приходит, как вор в ночи. Обычно так не случается. Но если вам встретится подобный опыт, вы, вероятно, поймете, как можно, хотя в сердце жгучая боль и страдание, вместе с тем радоваться, и каким образом — об этом мы еще поговорим — возможно в службе погребения провозглашать: *Блажен путь, воньже идиши днесь, душе, яко уготовася тебе место упокоения*<sup>31</sup>, и почему ранее в этой же службе мы как бы от лица умершего, употребляя слова псалма, говорим: *Жива будет душа моя и восхвалит Тя, Господи* (Пс 118:175).

## Старение

Чаще, чем с внезапной смертью, мы сталкиваемся с долгой или короткой болезнью, ведущей к умиранию, и со старостью, которая постепенно приводит нас либо к могиле, либо — в зависимости от точки зрения — к освобождению: к последней встрече, к которой каждый из нас, сознательно или нет, стремится и рвется всю свою земную жизнь, — к нашей встрече лицом к лицу с Живым Богом, с Вечной Жизнью, с приобщенностью Ему. И этот период болезни или нарастающей старости нужно встретить и понять творчески, осмысленно.

Одна из трагедий жизни, которая приносит большие душевные страдания и муки, — видеть, как любимый человек стареет, теряет физические и умственные способности, теряет как будто то, что было самое ценное: ясный ум, живую реакцию, отзывчивость на жизнь. Так часто мы стараемся отстранить это, обойти. Мы закрываем глаза, чтобы не видеть, потому что нам страшно видеть и предвидеть. И в результате смерть приходит и оказывается внезапной, в ней — не только испуг внезапности, о чем я упоминал ранее, но и дополнительный ужас того, что она поражает нас в самую сердцевину нашей уязвимости, потому что боль, страх, ужас росли, нарастали внутри нас, а мы отказывались дать им выход, отказывались сами внутренне созреть. И удар бывает более болезненный, более разрушительный, чем при внезапной смерти, потому что кроме ужаса, кроме горечи потери с ним приходит все самоукорение, самоосуждение за то, что мы не сделали всего, что можно было сделать, — не сделали из-за того, что это заставило бы нас стать правдивыми, стать честными, не скрывать от самих себя и от стареющего или умирающего человека, что смерть постепенно приоткрывает дверь, что эта дверь однажды широко раскроется, и любимый должен будет войти в нее, даже не оглянувшись.

Каждый раз, когда перед нами встает медленно надвигающаяся утрата близкого человека, очень важно с самого начала смотреть ей в лицо — и делать это совершенно спокойно, как мы смотрим в лицо человеку, пока он жив и среди нас. Ведь мысли о грядущей смерти противостоят реальности живого присутствия. Мы всегда можем полагаться на это несомненное присутствие и вместе с тем все яснее видеть все стороны идущей на нас потери. Вот это равновесие между убедительностью реальности и хрупкостью мысли и позволяет нам готовить самих себя к смерти людей, которые нам дороги.

## Жизнь вечная

Разумеется, такая подготовка, как я уже сказал, влечет за собой отношение к смерти, которое признает, с одной стороны, ее ужас, горе утраты, но вместе с тем сознает, что смерть — дверь, открывающаяся в вечную жизнь. И очень важно снять преграды, не дать страху возвести стену между нами и умирающим. Иначе он осужден на одиночество, оставленность, ему приходится бороться со смертью и всем, что она для него представляет, без всякой поддержки и понимания; эта стена не позволяет и нам сделать все, что мы могли бы сделать, с тем чтобы не осталось никакой горечи, никакого

самоукорения, никакого отчаяния. Нельзя с легкостью сказать человеку: «Знаешь, ты же скоро умрешь...»

Для того чтобы быть в состоянии встретить смерть, надо знать, что ты укоренен в вечности, не только теоретически знать, но опытно быть уверенным, что есть вечная жизнь. Поэтому часто, когда видны первые признаки приближающейся смерти, надо вдумчиво, упорно работать на то, чтобы помочь человеку, который должен войти в ее тайну, открыть, что такое вечная жизнь, в какой мере он уже обладает этой вечной жизнью и насколько уверенность в том, что он обладает вечной жизнью, сводит на нет страх смерти — не горе разлуки, не горечь о том, что смерть существует, а именно страх. И некоторым людям можно сказать: «Смерть при дверях, пойдем вместе до ее порога, будем вместе возрастать в этот опыт умирания. И войдем вместе в ту меру приобщенности вечности, которая доступна каждому из нас».

Это я тоже хотел бы пояснить примером. Лет тридцать тому назад в больнице очутился человек, как казалось, с легким заболеванием. Его обследовали и нашли, что у него неоперабельный, неизлечимый рак. Это сказали его сестре и мне, ему не сказали. Я его навестил. Он лежал в постели, крепкий, сильный, полный жизни, и он мне сказал: «Сколько мне надо еще в жизни сделать, и вот я лежу, и мне даже не могут сказать, сколько это продлится». Я ему ответил: «Сколько раз вы говорили мне, что мечтаете о возможности остановить время, так чтобы можно было *быть* вместо того, чтобы *делать*. Вы никогда этого не сделали. Бог сделал это за вас. Настало вам время *быть*». И перед лицом необходимости *быть*, в ситуации, которую можно было бы назвать до конца созерцательной, он в недоумении спросил: «Но как это сделать?»

Я указал ему, что болезнь и смерть зависят не только от физических причин, от бактерий и патологии, но также от всего того, что разрушает нашу внутреннюю жизненную силу, от того, что можно назвать отрицательными чувствами и мыслями, от всего, что подрывает внутреннюю силу жизни в нас, не дает жизни свободно изливаться чистым потоком. И я предложил ему разрешить не только внешне, но и внутренне все, что в его взаимоотношениях с людьми, с самим собой, с обстоятельствами жизни было «не то», начиная с настоящего времени; когда он выправит все в настоящем, идти дальше и дальше в прошлое, примиряясь со всем и со всеми, развязывая всякий узел, вспоминая все зло, примиряясь — через покаяние, через приятие, с благодарностью — со всем, что было в его жизни, а жизнь-то была очень тяжелая. И так месяц за месяцем, день за днем мы проходили этот путь. Он примирился со всем в своей жизни. И я помню, в самом конце жизни он лежал в постели, слишком слабый, чтобы самому держать ложку, и он мне сказал с сияющим взглядом: «Мое тело почти умерло, но я никогда не чувствовал себя так интенсивно живым, как теперь». Он обнаружил, что жизнь зависит не только от тела, что он — не только тело, хотя тело — это он, обнаружил в себе нечто реальное, чего не могла уничтожить смерть тела.

Это очень важный опыт, который я хотел напомнить вам, потому что так мы должны поступать снова и снова, в течение всей жизни, если хотим ощущать силу вечной жизни в самих себе и не страшиться, что бы ни случилось с временной жизнью, которая тоже принадлежит нам. Невозможно глубоко пережить процесс умирания, потому что мы не в состоянии вообразить, в чем он состоит. Но можно обратиться к опыту людей, которые общались с умирающими.

## **Восприятие смерти в детстве**

Я хотел бы теперь перейти к другой теме, поговорить о другом. Встречу с собственной смертью мы переживаем очень различно, в зависимости от возраста и обстоятельств. Подумайте о детях, которые слышат слово «смерть». Одни из них имеют, может быть, смутное представление о ней, другие потеряли, возможно, одного или обоих родителей и горевали от сиротства. Они ощутили потерю, но не самую смерть. Большинство детей, во всяком случае мальчиков, в какой-то период жизни играют в войну. «Я тебя застрелил. Ты убит. Падай!» И ребенок падает, и знает в своих чувствах, хотя и изнутри защищенности игры, что он мертв; для него это означает, что он не имеет права участвовать в игре, бегать, не вправе шевельнуться. Он так и должен лежать. Вокруг него продолжается жизнь, а он не принадлежит ей; пока в какой-то момент он больше не может выдержать и вскакивает с возгласом: «Мне надоело быть мертвым, теперь твоя очередь!» Это очень важный опыт, потому что через него ребенок обнаруживает, что может оказаться вне жизни, а вместе с тем это происходит в игре, он защищен игровой ситуацией. В любой момент переживанию смерти может быть положен конец по взаимной договоренности, но чему-то он научился. Я помню, много лет тому назад в одном из наших детских лагерей был чрезвычайно впечатлительный мальчик, который воспринимал эту ситуацию настолько остро, что не мог вынести ее напряжения, и я провел с ним целую игру, жил, прятался, вступал в бой, был «убит» вместе с ним, чтобы он смог войти в этот опыт, который для него был не игрой, был слишком реален. Это один пример.

Ребенок может познакомиться со смертью уродливым образом, и это искалечит его, или, напротив, здраво, спокойно, как покажет следующий пример (он взят из жизни, это не притча). Глубоко любимая бабушка умерла после долгой и тяжелой болезни. Меня позвали, и когда я приехал, то обнаружил, что детей увели. На мой вопрос родители ответили: «Мы же не могли допустить, чтобы дети остались в одном доме с покойницей». — «Но почему?» — «Они знают, что такое смерть». — «И что же они знают о смерти?» — спросил я. «На днях они нашли в саду крольчонка, которого задрали кошки, так что они видели, что такое смерть». Я сказал, что, если у детей сложилась такая картина смерти, они обречены через всю жизнь пронести чувство ужаса. При всяком упоминании о смерти, на каждых похоронах, у любого гроба — в этом деревянном ящике для них будет скрыт невыразимый ужас... После долгого спора, после того как родители сказали мне, что дети неизбежно получают психическое расстройство, если им позволить увидеть бабушку, и что это будет на моей ответственности, я привел детей. Первый их вопрос был: «Так что же случилось с бабушкой?» Я сказал им: «Вы много раз слышали, как ей хотелось уйти в Царство Божие к дедушке, куда он ушел прежде нее. Вот это и произошло». — «Так она счастлива?» — спросил один из детей. Я сказал: «Да». И потом мы вошли в комнату, где лежала бабушка. Стояла изумительная тишина. Пожилая женщина, лицо которой много лет было искажено страданием, лежала в совершенном покое и мире. Один из детей сказал: «Так вот что такое смерть!» И другой прибавил: «Как прекрасно!» Вот два выражения того же опыта. Дадим ли мы детям воспринимать смерть в образе крольчонка, разодранного кошками в саду, или покажем им покой и красоту смерти?

Смерть вовсе не следует скрывать, она проста, она — часть жизни. Дети могут посмотреть в лицо умершего и увидеть покой. На прощание мы целуем умершего. И надо не забыть предупредить ребенка, что лоб человека, который обычно был теплый, теперь, когда он его поцелует, окажется холодным, тут можно сказать: «Это печать смерти». Жизни сопутствует тепло — смерть холодна. И тогда ребенок не пугается, потому что у него есть опыт тепла и холода: и то, и другое имеет свою природу и свое значение.

### **Насильственная смерть**

Позднее мы встречаемся со смертью в соответствии с этими первыми впечатлениями. Подростками, в юности мы можем столкнуться трагически с насильственной смертью, несчастными случаями, войной. Я помню юношу, который ни разу в жизни не подумал о смерти; его друг погиб, разбился на большой скорости на мотоцикле. Он пришел ко мне и сказал, что, когда увидел результат этого безумия — искалеченное, истерзанное тело друга, это заставило его задуматься. И знаете, что пришло ему на мысль? Мне это показалось *non sequitur*<sup>32</sup>, никак не связанным с тем, что произошло. А он подумал: «Если я не ищущу и не достигаю святости, я обкрадываю Бога, лишаю Его славы и краду у ближнего то, что ему по праву принадлежит». Смерть — грубая, жестокая, безобразная, которой он стал свидетелем, — поставила его лицом к лицу с вечными, абсолютными ценностями, которые он носил в себе, но которые в нем всегда спали, бездейственные, нетронутые.

На войне смерть порой встречаешь с ужасом, а порой — с душевным подъемом. Но так часто со смертью встречаются люди в том возрасте и состоянии, которые никак не подготовили их к умиранию, к встрече со смертью. Молодое, крепкое человеческое тело без всякого, казалось бы, семени смерти почти мгновенно оказывается перед вероятностью или даже порой неизбежностью смерти. Реакция бывает очень различная, многое зависит от того, за что сражался человек, бился ли он убежденно или поневоле, по необходимости или добровольно. И то, как человек умирает, определяется не возвышенностью дела, которое он защищает, а тем, насколько полно, от всего сердца он предан этому делу и готов отдать за него жизнь.

### **Осиротелость**

Как я уже говорил, мы соприкасаемся со смертью впервые и сколько-то длительно через потерю близких. И на этом я хотел бы несколько остановиться, потому что, научаясь понимать смерть других людей, ее действие в них, ее действие в нас через переживание чужой смерти, мы сумеем глядеть в лицо смерти, в конечном итоге — встретить лицом к лицу собственную смерть, сначала как возможность, вернее, неизбежность, но неизбежность часто как будто настолько далекую, что мы с ней не считаемся, — а затем и как самую реальность, грядущую на нас. Поэтому я остановлюсь на этой теме — утрате близких.

Я уже упоминал, что одна из проблем, сразу встающих перед тем, кто потерял близкого человека, — это чувство, ощущение одиночества, оставленности тем порой единственным человеком, кто имел для нас значение, кто заполнял все пространство, все время, все сердце. Но даже если сердце не было заполнено целиком, усопший оставляет после себя громадную пустоту. Пока человек болен, мы погружены в мысли и заботы о нем. Мы действуем собранно и целенаправленно. Когда человек умер, очень часто оставшимся кажется, что их деятельность потеряла смысл, во всяком случае, не имеет непосредственной цели, центра, направленности; жизнь, которая, хотя была тяжела и мучительна, текла потоком, становится трясинной. Одиночество означает также, что не с кем поговорить, некого выслушать, не к кому проявить внимание, что никто не ответит, не отзовется и нам некому ответить и отозваться, а это означает также очень часто, что только благодаря ушедшему мы имели в собственных глазах некую ценность: для него мы действительно что-то значили, он служил утверждением нашего бытия и нашей значимости.

Габриель Марсель говорит, что сказать кому-нибудь: «Я тебя люблю» — то же самое, что сказать: «Ты никогда не умрешь»<sup>33</sup>. Это можно сказать и в случае смертной разлуки. Нас оставил человек — и некому больше утверждать нашу высшую ценность, наше



предельное значение. Нет того человека, который мог бы сказать: «Я люблю тебя», и следовательно, у нас нет признания, утверждения в вечности... Этому тоже надо уметь посмотреть в лицо. Такое нельзя, невозможно отстранить, от этого не уйдешь.

Образовалась пустота, и эту пустоту никогда не следует пытаться заполнить искусственно чем-то мелким, незначительным. Мы должны быть готовы встретить горе, тоску, смотреть в лицо всему, что происходит внутри нас самих, и тому, что навязывает нам ложно понятое доброжелательство окружающих, которые берегут наше горе и страдание, настоятельно напоминая о нем. Мы должны быть готовы признать, что любовь может выражаться и через страдание и что, если мы утверждаем, что действительно любим того, кто ушел из этой жизни, мы должны быть готовы любить человека из глубины горя и страдания, как мы любили его в радости, утверждая его этой радостью общей жизни. Это требует мужества, и, я думаю, об этом надо говорить снова и снова сегодня, когда многие, чтобы избежать страдания, обращаются к транквилизаторам, к алкоголю, ко всякого рода развлечениям — лишь бы забыться. Потому что то, что происходит в душе человека, может быть заслонено, но не прерывается, и если оно не будет разрешено, человек измельчает, он не вырастет.

### **Жизнь усопшего как пример**

Скажу еще вот о чем. Очень часто оставшиеся чувствуют, что потеря коснулась не только их самих, она затронула многих: окружающие лишились ума, сердца, воли человека, который поступал добротнo и прекрасно. И человек, потерявший близкого, сосредоточивается умом на этой потере. Тут следует помнить — и это очень важно — что всякий, кто живет, оставляет пример: пример того, как следует жить, или пример недостойной жизни. И мы должны учиться от каждого живущего или умершего человека: дурного — избегать, добру — следовать. И каждый, кто знал усопшего, должен глубоко продумать, какую печать тот наложил своей жизнью на его собственную жизнь, какое семя было посеяно, и должен принести плод.

В Евангелии говорится, что если семя не умрет, то не принесет плода, а если умрет, то принесет плод в тридцать, в шестьдесят и в сто раз (Ин 12:24; Мф 13:8). Именно это может произойти, если мы всем сердцем, всем умом и памятью, всей нашей чуткостью, во всей правде задумаемся над жизнью усопшего. Будь у нас мужество воспользоваться этим мечом, именно Божиим мечом, чтобы разделить свет от тьмы, чтобы со всей доступной нам глубиной отделить плевелы от пшеницы, тогда, собрав весь доступный нам урожай, каждый из нас, каждый, кто знал усопшего, принес бы плод его жизни, стал бы жить согласно полученному и воспринятому образу, подражая всему, что достойно подражания в жизни этого человека.

Разумеется, каждый из нас больше напоминает сумерки, чем яркий, сияющий свет, но свет и во тьме светит, и этот свет следует прозревать и отделять от тьмы в самих себе, так чтобы как можно больше людей могло жить и приносить плод жизни данного человека.

На погребении мы стоим с зажженными свечами. Это означает, мне кажется, две вещи. Одна самоочевидна: мы провозглашаем Воскресение, мы стоим с зажженными свечами, так же как в пасхальную ночь. Но мы стоим также, свидетельствуя перед Богом, что этот человек внес в сумерки нашего мира хоть проблеск света, и мы этот свет сохраним, обережем, умножим, поделимся им так, чтобы он светил все большему числу людей, чтобы он разгорался по возможности в тридцать, в шестьдесят, во сто раз. И если мы решимся так жить, чтобы наша жизнь была продолжением всего, что было в нем благородного, и истинного, и святого, тогда действительно этот человек прожил не напрасно, и мы поистине почувствуем, что сами живем не напрасно. В нас не останется

места надеждам на скорый конец, потому что у нас есть задание, которое мы должны выполнить.

Можно взять пример, который, разумеется, далеко превосходит наш опыт, — слова апостола Павла: *для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение*, потому что, пока я живу в теле, я разлучен от Христа, но для вас полезнее, чтобы я жил (Флп 1:21). Где соколовище наше, там и сердце наше будет (Мф 6:21). Соколовищем для Павла был Христос, самая драгоценная находка и обладание его пламенной, мощной души, вся любовь его жизни, которая заставляла его устремляться к тому времени, когда он облечется в вечность и увидит, как Бог видит его, познает, как сам познан, войдет в общение без всякого покрывала или тусклого стекла между ним и предметом его любви (1 Кор 13:12). Но вместе с тем он знал, что, обладая тем опытом, который он пережил, он может принести миру свидетельство, какого не могут принести те, кто говорит только понаслышке. И он был готов отказаться от встречи, которой жаждал, от приобщенности и единства, к которым устремлялся, ради того, чтобы принести свое свидетельство. И его любовь к единоплеменникам была такова, что он мог воскликнуть, что готов сам быть отлучен от Христа навеки, если это откроет им путь к Нему (Рим 9:3 и след.). В какой-то малой мере каждого, кто живет и становится для нас таким соколовищем или одним из самых драгоценных обладаний нашего сердца, можно рассматривать в таком контексте.

### **Свидетельство нашей жизни**

Это приводит меня к еще одному. Мы оставлены, чтобы все, что мы видели, что слышали, что пережили, могло умножиться и распространиться и стать новым источником света на земле. Но если мы можем со всей правдой, искренне сказать, что усопший был для нас соколовищем, — тогда наше сердце должно быть там, где наше соколовище, и мы должны вместе с этим человеком, который вошел в вечность, жить возможно полнее, возможно глубже в вечности. Только там мы можем быть неразлучны. Это означает, что по мере того, как все большее число любимых нами людей покидает это земное поприще и входит в неколебимый покой вечной жизни, мы должны все больше чувствовать, что принадлежим тому миру все полнее, все совершеннее, что его ценности все больше становятся нашими ценностями. И если один из любимых носит имя Господа Иисуса Христа, если Он — одно из самых больших наших соколовищ, тогда, подобно апостолу Павлу, мы поистине можем, еще будучи на земле, устремляться всецело, всем сердцем, и умом, и плотью, к тому дню, когда соединимся с Ним уже неразлучно.

### **Путь примирения**

Есть молитвы, предваряющие смерть человека, есть последования, связанные с подготовкой к смерти. Подготовка, в первую очередь, через то, чтобы отвернуться от временного к вечному. Святой Серафим Саровский перед смертью говорил: телом я приближаюсь к смерти, а духом я точно новорожденный младенец, со всей новизной, всей свежестью начала, а не конца... Это говорит о том, что необходимо готовиться к смерти через суровый, но освобождающий нас процесс примирения со всеми, с самим собой, с собственной совестью, со всеми обстоятельствами, с настоящим и с прошлым, с событиями и с людьми, и даже с будущим, с самой грядущей смертью. Это целый путь, на котором мы примиряемся, как говорит, кажется, святой Исаак Сирин, с нашей совестью, с ближним, даже с предметами, которых мы касались, — так чтобы вся земля могла сказать нам: «Иди в мире», и чтобы мы могли сказать всему, что представляла для нас земля: «Оставайся с миром, и пусть будет на тебе Божий мир и Божие благословение». Невозможно войти в вечность связанным, опутанным ненавистью, в немирном состоянии. И если мы хотим достичь этого в то короткое время, которое грядущая смерть нам

оставляет, очень важно рассматривать всю нашу жизнь как восхождение — восхождение к вечности, не как смертное увядание, а как восхождение к моменту, когда мы пройдем тесными вратами смерти в вечность, — не совлекшись временной жизни, но, по слову апостола Павла, облекшись в вечность (2 Кор 5:4).

Согласно православному преданию, первые три дня после смерти душа человека остается около земли, посещает привычные ей места, как бы вспоминая все, чем была для нее земля, так что душа покидает землю и предстает перед Богом в полном сознании всего, что с ней происходило. Эти три дня окружены особым вниманием. Мы молимся, мы служим панихиды, мы сосредоточены мыслью на всей многосложности наших отношений с усопшим. И у нас есть свое задание. Мы должны развязать все узелки в душе. Мы должны быть в состоянии сказать усопшему из самой глубины сердца и всего нашего существа: «Прости меня!» и сказать также: «Я прощаю тебя, иди в мире».

Может быть, в этом объяснение старого присловья, что об усопшем не следует говорить дурного. Если мы истинно, во всей истине и правде, сказали усопшему: «Я отпускаю тебя. Я встану перед Богом со своим прощением, пусть ничто, что было между нами, не стоит на твоём пути к полноте и вечной радости», то как можем мы вернуться назад, припомнить зло, припомнить горечь? Это не значит, что мы закрываем глаза на реальность, потому что если действительно в жизни человека было зло, если действительно было что-то неладное между нами и усопшим, то тем более должны мы молить Бога освободить обоих — и нас самих, и усопшего, — чтобы быть в состоянии и слышать слова прощения «Иди с миром», и произнести эти слова со все нарастающей глубиной понимания, все нарастающим сознанием свободы.

## Душа и тело

Теперь, говоря о проблеме реальности смерти, мы обратимся к различным связанным с ней службам Православной Церкви. Поскольку каждый может прочесть эти тексты или знает на опыте, я не буду разбирать их подробно, а выделю некоторые характерные черты. Во-первых, есть две службы, которые все вы, несомненно, хорошо знаете: это краткое богослужение в память усопшего — панихида и отпевание мирян. Существуют и другие, менее известные последования: к ним относится канон, по возможности читаемый над человеком, отходящим из этого мира, оставляющим его тяжело, мучительно, а также отпевание младенцев и отпевание священников. Всем этим службам свойственны некоторые основные черты.

В этих последованиях две стороны: забота о душе и забота о теле. Мы разделяем со всеми Церквями молитвенную заботу об отходящей или отошедшей душе. Но мне кажется, что православие оказывает особенное внимание телу, его отношению к телу удивительно полно содержания. В панихиде все внимание сосредоточено на душе, которая теперь в вечности стоит лицом к лицу с Живым Богом, возрастает во все углубляющееся познание Бога, во все углубляющуюся приобщенность Ему. В службе отпевания, наряду с заботой о душе — отошедшей, но еще в каком-то смысле столь близкой земле, — выражена глубокая забота о теле.

## Тление

В связи с этим я хочу сказать несколько слов о самом теле. Если прочесть службу погребения, видно, что тело рассматривается с двух точек зрения. С одной стороны, мы сознаем, что это тело обречено на тление: *земля еси, и в землю отыдеши* (Быт 3:19), и мысль об этом очень болезненна, видеть это очень больно. Я сейчас думаю о чем-то, о чем

говорить очень трудно, о чем я говорил только один раз в жизни, несколько дней спустя после похорон моей матери, потому что чувствовал, что это единственный случай, когда я смогу высказаться, поделиться этими мыслями.

Моя мать умерла в Великую пятницу, хоронили ее почти неделю спустя. Утром перед отпеванием я спустился провести с ней напоследок несколько минут в нашей домовый церкви и впервые заметил признаки тления на ее руках и на лице. Меня глубоко ранило, что этих рук, которые я так любил, этого лица, которое я так любил, теперь коснулось тление. Первое мое движение было — отвернуться и не смотреть: отвернуться не от моей матери, но от этих темных пятен, которые распространялись. Но потом я уловил в этом последнюю весть, в которую я должен взглядеться, которую должен воспринять. Тело, которое было мне так дорого, скоро распадется, и вот что моя мать говорила мне: «Если ты хочешь никогда меня не потерять, не приходи встречаться со мной на могилу. Конечно, то, что остается от меня земного, будет лежать там, и ты можешь почитать это место, ухаживать за ним, но общаться отныне мы будем *не через тело* — наше общение в Боге».

Я сказал об этом проповедь в приходе, и кое-кто упрекнул меня в грубости и бесчувствии. Но я мог это сказать только по поводу смерти *моей* матери, я не смог бы этого сказать при смерти чьей-нибудь еще матери, или жены, или брата, или друга. И сейчас я это повторяю, потому что в нашем отношении к усопшему мы должны найти равновесие между принятием реальности и уверенностью веры, между видением тления и уверенностью в вечной жизни, между любовью к месту, где покоятся останки любимого тела, и уверенностью, что связь, общение продолжаются на всю вечность в Боге. Это первый аспект участия тела. Мы находим отголоски этого горя и чувства трагичности в различных молитвах, в тропаре и каноне, в стихирах Иоанна Дамаскина: человеческое тело, которое было призвано к вечной жизни, убито смертностью, порожденной потерей Бога<sup>34</sup>.

### **Целостный человек**

С другой стороны, Священное Писание, говоря о целостном человеке, в различных местах употребляет слово «тело», или «человек», или «душа». И действительно, между телом и душой, даже между телом и духовными переживаниями существует неразрывная связь. Апостол Павел свидетельствует об этом, когда говорит: *вера от слышания, а слышание от слова Божия* (Рим 10:17). Слово произносится, слово бывает услышано посредством тела: через уста говорящего, уши слушающего, но слова достигают сердца, достигают ума, достигают сердцевины человека так, что одно Божие слово может перевернуть жизнь человека. Мы ведь знаем, насколько наши телесные чувства принимают участие во всем, что происходит в нашем уме, в нашем сердце. Мать выражает всю свою любовь к ребенку, касаясь его, лаская его, — сколько утешения можно передать прикосновением руки, сколько любви во всех ее формах может быть выражено посредством тела. Так что, когда мы глядим на тело усопшего, мы видим не просто сброшенную одежду, как многие стараются убедить себя, по крайней мере на словах, чтобы утешиться, чтобы загладить горе. Тело не одежда, и мы не просто сбрасываем его. Это тело столь же реально, как реален весь человек, как реальна душа. Только в единстве тела и души мы являемся полным человеком.

Это выражает неожиданным, может быть, даже поразительным образом святой Исаак Сирийский, который пишет, что вечная судьба человека не может определиться раньше воскресения тела, потому что телу наравне с душой надлежит выбрать и определить вечную участь человека; смысл этого высказывания таинствен для нас, потому что мы не

в состоянии представить, как это возможно. И, однако, — да: *я* — это мое тело, равно как и моя душа. И человека можно рассматривать только в целостности. Поэтому, когда мы смотрим на тело, мы смотрим на него с благоговением. Мы видим его со всем страданием и всей радостью, всей тайной жизни, какая была в этом человеке. Тело можно бы назвать видимым образом невидимого. В этом отношении, быть может, не случайно в славянской церковной службе тело называется *мощами*. Каждое тело, окруженное любовью, благоговением, почитанием, тело, призванное к воскресению, тело, которое на протяжении всей жизни служило таинственному общению с Богом в крещении и миропомазании, в помазании святым елеем при болезни, в приобщении Телу и Крови Христовым, в получении благословения — это тело является, так сказать, семенем — и это слово апостола Павла: сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в унижении, восстает в славе (1 Кор 15:42—43). Это *тело тления*, от которого хотел бы освободиться апостол, чтобы жить в полноте, лицом к лицу с Богом, вместе с тем призвано к вечности.

Так, с одной стороны, мы видим, что это тело, столь дорогое и драгоценное, поражено и побеждено смертностью, подвержено смерти. А с другой стороны, мы видим в нем семя, которое посеяно, чтобы через воскресение восстать вновь в славе бессмертия. И глядя на него, мы не можем не прозревать его связь с телом Христа. У апостола Павла есть выражение: *жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге* (Кол 3:3). Наше воплощенное человечество сокрыто в тайне Святой Троицы, и эта воплощенность охватывает все человечество. Во Христе, в Матери Божией мы уже можем видеть прославленность, к которой призвано наше тело. Так что мы не то что разделены, но мы в очень сложном состоянии, когда, сокрушаясь сердцем о разлуке, с изумлением видим, что человеческое тело может умереть, но взираем с верой и надеждой на это тело, которое когда-то восстанет, подобно телу Христа.

### **Победа Воскресения**

Воскресением Христовым смерть на самом деле преодолена. Смерть преодолена во всех отношениях. Она побеждена, потому что благодаря Воскресению Христову мы знаем, что смерть — не последнее слово и что мы призваны восстать и жить. Смерть также поражена победой Христа, поправшего ад, потому что самый ужасный аспект смерти в представлении ветхозаветного народа израильского был в том, что отделенность от Бога, которую принесла с собой смерть, стала окончательной, непреодолимой. Те, кто умирал от потери Бога — и это относилось ко всем умершим, — в смерти терял Его навсегда. Ветхозаветный *шеол* был местом, где Бога нет, местом окончательного, безвозвратного Его отсутствия и разлуки. Воскресением Христа, Его сошествием во ад, в глубины адовы, этому был положен конец. Есть разлука на земле, есть горечь разлуки, но нет в смерти разлучения от Бога. Напротив, смерть — момент, путь, через который, как бы мы ни были отделены, как бы несовершенно ни было наше единение и гармония с Богом, мы предстаем перед Его лицом. Бог — Спаситель мира. Он не раз говорил: *Я пришел не судить мир, но спасти мир* (напр., Ин 12:47). Мы предстаем перед Тем, Кто есть *Спасение*.

### **Отпевание**

В службе отпевания есть трудные моменты. Нужно собрать всю нашу веру и всю нашу решимость, чтобы начать эту службу словами: *Благословен Бог наш...* Порой это предельное испытание для нашей веры. *Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно*, — сказал Иов (Иов 1:2). Но это нелегко сказать, когда мы раздираемся сердцем, видя, что тот, кого мы любим больше всего, лежит мертвым перед нашим взором.

А затем следуют молитвы, полные веры и чувства реальности, и молитвы человеческой хрупкости; молитвы веры сопровождают душу усопшего и приносятся перед лицом Божиим как свидетельство любви. Потому что все молитвы об усопшем являются именно свидетельством перед Богом о том, что этот человек прожил не напрасно. Как бы ни был этот человек грешен, слаб, он оставил память, полную любви: все остальное истлеет, а любовь переживет все. Вера пройдет, и надежда пройдет, когда вера станет видением и надежда — обладанием, но любовь никогда не пройдет (1 Кор 13:8).

Поэтому, когда мы стоим и молимся об усопшем, мы на самом деле говорим: «Господи, этот человек прожил не напрасно. Он оставил по себе пример и любовь на земле: примеру мы будем следовать, любовь никогда не умрет». Провозглашая перед Богом нашу неумирающую любовь к усопшему, мы утверждаем этого человека не только во времени, но и в вечности. Наша жизнь может быть его искуплением и его славой. Мы можем жить, воплощая своей жизнью все то, что было в нем значительного, высокого, подлинного, так, что когда-то, когда придет и нам время со всем человечеством стать перед Богом, мы сможем принести Господу все плоды, всю жатву семян, посеянных его примером, его жизнью, которые проросли и принесли плод благодаря нашей неумирающей любви, и сказать Господу: «Прими это от меня, оно принадлежит ему, ей: я — только поле, сеятель был он! Его пример, его слово, его личность были словно семя, брошенное в почву, и этот плод принадлежит ему».

И мы можем стоять с разбитым сердцем и тем не менее провозглашать слова веры: *Благословен Бог наш...* Порой еще трагичнее звучит тропарь Воскресения: *Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав*, — когда перед нашими взорами мертвое тело человека, которого мы любили. Но голос Церкви произносит слова поддержки и утешения: *Блажен путь, воньже идеши днесь, душе, яко уготовася тебе место упокоения, и: Жива будет душа моя и восхвалит Тя, Господи*.

И с другой стороны, есть вся боль, все горе, которые мы ощущаем совершенно справедливо, скорбь, которая от лица умирающего выражена в одном из тропарей канона на исход души: *Плачьте, вздохните, сетуйте: се бо от вас ныне разлучаюся*.

И вместе с тем есть несомненная уверенность, что смерть, которая для нас — потеря и разлука, есть рождение в вечность, что она — начало, а не конец, что смерть — величественная, священная встреча между Богом и живой душой, обретающей полноту только в Боге.

## Оживший из мертвых<sup>35</sup>

Мне предложили темой прекрасное, глубокое определение христианина — «оживший из мертвых» (Рим 6:13), и я попытаюсь рассмотреть в меру моих сил некоторые его аспекты, хотя обращаюсь к вам со своим словом в колебании: больше, чем когда-либо, мне сегодня кажется, что вам предстоит выслушать весьма примитивные рассуждения о возвышенном.

На первый взгляд, это выражение апостола Павла как бы отсылает к Евангелию от Иоанна (Ин 11:1—44), будто прототип этого «ожившего из мертвых» — Лазарь. Однако даже пример Лазаря, как он ни значителен, меньше этой реальности христианина. Лазарь ожил, но он вернулся к временной жизни, вновь умер. Образ «ожившего из мертвых», который действительно в меру христианина — это Сам Христос, и только Он.

Я хотел бы сначала остановиться на теме *смерти*. О какой смерти (и, следовательно, о каком воскресении) идет речь? Какое существо восстает из этого опыта смерти? Что делать перед лицом смерти, чтобы ожить в том же смысле, как ожил Христос?

Смерть можно встречать лицом к лицу мужественно, героически. Вспомните строки Альфреда де Виньи в стихотворении «Смерть волка»:

Я думал: «Как смешны мы в нашем ослепленье!  
Как слабы, хоть и мним себя венцом творенья!  
Учись же, человек, величию у зверей,  
Чтоб, отдавая жизнь, не сожалеть о ней».

И далее, толкуя последний брошенный ему волком взгляд:

Он как бы говорил: «Коль и в тебе есть твердость,  
Сумей взрастить в душе стоическую гордость  
И стань ценою дум, и бдений, и трудов  
Тем, чем с рожденья был я, вольный сын лесов.  
Поверь: стенать, рыдать, молить — равно позорно.  
Свой тяжкий крест неси и долго, и упорно.  
Путь, что тебе судьбой назначен, протори,  
Потом, без слов, как я, отмучься и умри»<sup>36</sup>.

Победа ли это над смертью? Нет, это героический, прекрасный, но спорный способ встречать в лицо процесс «умирания». Смерть здесь не побеждена, не превзойдена. В одном письме из тюрьмы, написанном на Пасху, Бонхёффер говорил: «Сократ научил нас смотреть в лицо смерти. Христос же победил смерть»<sup>37</sup>. Об этой-то победе мы и будем говорить. Героизм, внутренняя дисциплина, величие души позволяют нам встретить лицом к лицу это событие, учат нас проходить шаг за шагом путь смерти, не сломавшись душой, но тем не менее победа остается за смертью. Сократ выпил яд, волк Альфреда де Виньи умер безвозвратно, и столько героев, замечательным образом встретивших лицом к лицу опасности и ужасы смерти, умерли смертью, которую можно было бы назвать окончательной! Героизма тут недостаточно. Есть коренное различие между тем, чтобы смотреть в лицо смерти, и тем, чтобы победить смерть.

Романо Гуардини в небольшой книжечке под названием «О последних вещах»<sup>38</sup> подчеркивает факт, который мы слишком часто забываем: мы бесконечно ближе знакомы со смертью, чем нам думается. Смерть и жизнь переплетаются и составляют одно целое. Всякое перерастание, всякий жизненный порыв, который приводит нас на высший уровень, который действительно приближает нас к Богу, всегда сопровождается смертью. Ребенку нелегко стать юношей или девушкой. Некоторые детские черты должны действительно «вымереть», дабы юноша или девушка не были отмечены инфантильностью, так же как позднее взрослому человеку следует не замыкаться в вечной юности, но перерасти ее. И ради того, чтобы вырасти в полную свою меру, зрелому человеку придется отказаться от многих привлекательных черт, которые он хотел бы сохранить, но которые все равно ускользнут, потому что юность — состояние преходящее. На каждом уровне, в каждый момент нашего внутреннего или внешнего развития смерть присутствует не как разрушительная или убийственная сила, но как сила, которая нас освобождает, позволяет нам стать иными, чем мы были в предыдущий миг. Так что у нас есть опыт близости со смертью, и если продумывать его каждый день, если переживать его сердцем и умом, если принимать его со всей глубиной, которую смерть приобретает в различных ситуациях, эта близость могла бы научить нас встречать смерть

спокойным сердцем, потому что это — реальность, которую мы встречали изо дня в день в течение долгой ли, короткой ли жизни, и потому что из этого привычного нам события всегда возникала новизна жизни, оно оказывалось не концом поприща, а началом нового пути. Разумеется, есть смерть биологическая, но есть также то, что Р. Гуардини называет «смертью биографической», — смерть, которая гораздо страшнее телесной: она-то может оказаться победой, миром, высвобождением. Биографическая смерть имеет иной характер и может *тянуться* долго, это смерть переживших себя существ: они потеряли разум, но телом продолжают оставаться среди нас. Люди, которые были великими, служили примером, уже больше не могут жить со всей напряженностью и глубиной в меру достигнутой ими зрелости. Приходит время, когда смерть предстает нам в трагичности старения, как беспощадный упадок и вырождение, в уверенности — ложной, но столь болезненной, — что смерть означает постепенный распад, превращение в прах, означает, что мы стали ненужными, лишними для нашего окружения, быть может, задолго до того, как настоящая смерть принесет нам свободу — свободу встать перед Богом живой душой. Сколько знаменитых людей были забыты задолго до своей кончины! Они завершили свое дело и были преданы забвению. Наша ответственность перед лицом этого уродливого, отталкивающего постепенного умирания велика, потому что человек становится лишним, если его сочтут лишним ближние; нас обходят, отстраняют те, кто прежде нас окружал, и в результате у нас впечатление, что наша жизнь окончилась задолго до того, как пришла смерть. Тут есть ответственность общественная, человеческая, христианская, которую мы должны взять на себя: мы не имеем права отбрасывать кого-либо по причине его кажущейся «ненужности».

Если позволите, я вам дам пример, хотя он не в уровень моей темы: я вам расскажу о своей бабушке, которая достигла почтенного возраста девяноста пяти лет. Однажды после тщетных усилий вымыть посуду она ее выронила. Она позвала меня, показала осколки и сказала: «Почему Бог дает мне жить? Я уже никуда не поживу». Помню, в ответ я привел ей две причины, которые мне действительно кажутся законными. Первая: у Бога наверняка уже столько старушек, что еще одна уж действительно может подождать, но вторая была, вероятно, более важна с точки зрения человеческой — я сказал бабушке: «Знаешь, многое ты не умела делать так же хорошо, как другие, или лучше их. На протяжении твоих девяноста пяти лет, несомненно, были люди, которые умели лучше тебя мыть посуду. Но есть одно, чего не умел делать никто, кроме тебя, и это тебе удалось». Она с интересом насторожилась и спросила: «Что это?» — «Никто, кроме тебя, — ответил я, — не сумел быть моей бабушкой». Оно звучит шуткой, когда я вам это так передаю. Но это действительно имело значение для этой женщины: она будто открыла в себе что-то настолько неповторимое, чего не могли задеть ни возраст, ни дряхлость, ни старость со всей ее силой разрушения.

Так что трагизм смерти не в том, что в какой-то день мы окажемся перед лицом физической смерти, а в том, что задолго до того мы уже мертвецы среди... я хотел сказать — живых. Живых ли? Увы, нет! Мы — мертвецы среди существ, которые еще не научились жить, различать подлинную меру жизни, горение жизни там, где оно есть. В конечном итоге, даже если биологически мы остаемся живы, смерть представляется растущим разделением, трещиной, которая все расширяется и делает нас все более и более чуждыми друг другу. И все кончается видением ада Ветхого Завета. Этот ад не имеет живописного характера дантовского описания. Это не место изощренных мучений, где Бог присутствует во всей жестокости Своего оскорбленного Божества — уродливая карикатура истинного Бога. Это — место, где Бога нет. Это место радикального отсутствия Бога, место, где ничто нас больше не соединяет друг с другом, потому что лопнула нить, соединявшая жемчужины, потому что Бога нет, — и мы, как следствие, разделены друг от друга. И тогда ад — это другие, ад — это мы с вами, это та



неисцеленная разобщенность, к которой мы приговорены навечно. Вот *этой-то* смерти больше нет во Христе, *этот* ад побежден во Христе. В пасхальном тропаре мы поем, что Христос победил смерть<sup>39</sup>, и многие — не только среди неверующих, но и среди верующих — могли бы сказать, имеют право спросить: «Что означает это странное выражение? Смерть все еще царствует, она косит среди нас одного человека за другим, мы все отмечены ее печатью, мы все умрем! Что вы хотите сказать, когда поете воскресение и победу над смертью?» Победа над смертью состоит в том именно, что Своей смертью и Своим сошествием во ад Христос внес присутствие Божие в то именно место, где царило полнейшее Его отсутствие. Нигде — ни на небе, ни на земле, ни в глубинах духовных бездн — нет места, где отныне не присутствовал бы Бог. Ад раскрылся, чтобы поглотить человеческую душу, и принял в свое лоно Живого Бога. Эта человеческая душа блистала Божеством, и она уничтожила *шеол* — «место отсутствия», она его уничтожила до конца, упразднила его. Итак, если можно сказать, что Сократ научил нас глядеть в лицо смерти, то Один лишь Христос победил смерть в ее последней сущности. И она побеждена навсегда.

Отныне и в самой смерти, и в ее восприятии есть чрезвычайно положительные элементы. Смерть — миг, где все становление, вся тревога и долгий переход, и волнение, и борьба с временным, со всем тем, что обратится в прах, окончены. Смерть — момент, когда мы можем сказать: *все свершилось*. И мы можем войти в тайну смерти еще прежде, чем наше тело начнет дряхлеть; это — тайна, куда мы можем войти свободно всякий раз, когда понимаем, что все уже совершилось в жизни, в смерти, в Воскресении и Вознесении Христа и в даре Святого Духа. Тогда становится понятно, что возвещает Евангелие: мы уже внутри Царства Жизни.

Один английский автор обратил внимание на тот факт, что в Апокалипсисе слово «конец», которое должно быть среднего рода, всегда употребляется в мужском роде<sup>40</sup>. И вот как он это объясняет: автор Апокалипсиса не думает о конце как о завершающей точке линейного времени, для него конец — это приход, это встреча со Христом, с Богом Живым. Конец — не только миг, когда все завершено в смысле — окончено; все завершено, потому что все достигло своей *полноты* в лице Богочеловека. Христос — конец и в смысле последнего момента, и в смысле цели и завершения. Мы слишком часто забываем, что живем уже во временном ряду, который вышел за пределы линейного времени, хождения ощупью в полумраке Ветхого Завета, подобного цикличному времени внебиблейских религий. Мы живем во времени, где все уже завершено: Царство пришло во всей своей силе, Христос — в нашей среде, Дух Святой излился на апостолов и через них — на нас в непрекращающейся Пятидесятнице. Конечно — и я к этому еще вернусь, — мы ожидаем Парусии<sup>41</sup>, славного Второго пришествия Господня, но Он *уже* пришел, мы *уже* в Царстве, Царство пришло во всей своей силе, оно уже не только предмет нашей надежды и веры.

Подвижники древности упражнялись в «памяти смертной» и заповедали то же своим ученикам: «Помни последняя твоя». «Имей память смертную», — говорит нам вся аскетическая традиция. Когда приводишь эти слова современному человеку, он отвергает их: «Как? Неужели я всю жизнь, всю мою долгую человеческую жизнь должен провести в ужасе грядущей смерти? Неужели все радости должны быть отравлены уверенностью, что они окончатся? Неужели надо страшиться потерять все, что мы любим, и помнить, что любая красота мимолетна, истлеет? Неужели вся вселенная сводится к „Падали“ Бодлера?»<sup>42</sup> Но это ли имели в виду подвижники древности, когда призывали нас постоянно помнить о смерти? Думаю, нет. Смерть — единственное, что может заставить нас вырасти в меру жизни. Без нее жизнь могла бы стать столь мелкой и ничтожной! В тот момент, когда перед нами встает смерть, когда она входит, например, в наш дом, все

приобретает истинно человеческий, то есть богочеловеческий, масштаб. Подумайте о том, что происходит, когда один член семьи узнает, что смертельно болен. Смерть рядом, ее образ нельзя отстранить, она неотвратимо нарастает, она постепенно побеждает. Подумайте об этой семье, где не только кто-то один знает, что обречен, но где это знает и его окружение! Смерть может прийти внезапно, и отныне произнесенное вами слово — может быть, последнее, что услышит больной. Может быть, на вашем поступке упадет занавес, на нем окончится для больного «человеческой жизни празднество», как поется в Покаянном каноне. Времени исправить что-либо не остается, нельзя сказать себе: пока что я пишу черновик жизни, позднее я перепишу ее начисто. Времени нет, смерть может унести одного из нас, и останется только сожаление, отчаяние, которое, правда, может быть превзойдено верой, опытом Бога, молитвенным общением со святыми и безграничным взаимным снисхождением грешников, когда они признают свою общую слабость. Но для того, у кого нет веры, остается лишь отчаяние, остается только прошлое. Потому-то лишь сознание смерти дает всему и всем подлинную ценность. Один из наших православных священников, теперь покойный, сказал как-то в проповеди: «Лишь Дух Святой в Своем Божественном величии может усмотреть бесконечную ценность вещей, слишком мелких для того, чтобы быть замеченными людьми». Да, то, как вы ставите чашку чая на поднос, то, что вы не забудете салфетку, цветок, движение, которым вы все это поднесете, слово, которое вы скажете, то, что вы найдете время присесть возле человека, которого ждет смерть, когда он одинок, — все, вплоть до самого незначительного жеста, может стать символом и выражением глубины человеческих отношений, общения в Боге, которое может быть между двумя людьми. Все это возможно только перед лицом смерти. Только она может подсказать: это слово, этот жест должны быть вершиной, полнотой ваших отношений, должны стать тем последним словом, последним жестом, который даст вам вырасти в меру величия жизни и величия смерти. Столько людей не умеют жить, не могут жить, потому что не достигают этого сознания смерти: они не то что боятся, а все время как бы отодвигают смерть в далекое будущее, вне досягаемости, так что никогда не осознают всей меры своего человечества. Этой полной меры мы можем достичь, только если обнаружим величие нашего человечества, сопоставив его с вопросами столь же глубокими, каковы человеческие глубины. Тогда обнаруживаешь, что эти глубины — не только в меру человека, но в меру Бога. «Я столь же велик, как Бог, Бог так же мал, как я», — сказал Ангелус Силезиус в одном из своих двестишестидесяти<sup>43</sup>. Во Христе они соединены. Через Воплощение мы знаем, что человек достаточно велик, чтобы вместить полноту Божества не только в духе и в душе, но и во плоти. Вот мера человека.

Итак, сознание смерти несет с собой острое чувство жизни, особенную чуткость к динамике жизни. Только «память смертная» делает нас вполне человеческими, мы вырастаем «в меру смерти», а значит, в меру жизни. Вне этого мы бываем «в мышинный рост», и есть опасность, что никогда не вырастем. Напротив, через смерть, через осознание смерти мы обнаруживаем, что Христос — конец и завершение, полнота и исполнение — уже пришел и что мы уже теперь — внутри Его победы, а не в ожидании будущей, недостоверной победы. И мы видим, как эта уверенность, что Царство уже пришло в силу, в некоторых ситуациях может выражаться чрезвычайно конкретно.

Вспомните слова апостола Павла в шестой главе Послания к Римлянам — отрывок, который Церковь читает при крещении (Рим 6:3—11): в крещении мы умираем со Христом и восстаем, обновленные Его воскресением, к новой жизни; это уже не прежняя жизнь, но жизнь, разделенная со Христом: мы привиты к Нему, мы получаем живительный сок, более того, мы становимся *одно* с Ним на такой глубине, с такой силой, что святой Ириней Лионский мог сказать: в единстве с Ним мы будем когда-то *единородным сыном*, а не просто собранием, сообществом. Потому что мы не только

имеем отношения с Богом, но находимся в онтологическом единстве с Богочеловеком. В этом смысле крещение есть семя вечности. Поэтому-то и говорят о крещении, о миропомазании и о причастии Телу и Крови Христа, к которому Он впервые позволяет нам приступить, как о «посвящении»: это начало нашей жизни во Христе, в Боге, то есть не просто высшей жизни, но жизни в корне новой, самое качество и существо которой — *иные*. Покаяние, обращение составляют, таким образом, полный поворот, *живительную смерть*, благодаря которой мы говорим: теперь я стал чужд греху, которому поклонялся и служил, который любил, которому я отдался. Я стал ему чужд, я больше его не желаю, я хочу принадлежать одному Богу... Это — «живительная смерть» потому, что это — смерть для ложной жизни греха, это — смерть для смерти, нам предлагается и предстоит подлинное обновление. То же самое содержится в монашеских обетах, когда мы отбрасываем временное, относительное, для того чтобы радикальным подвигом прилепиться только высшему, совершенному.

Я говорил о смерти несоразмерно долго относительно предложенной мне темы. Но об этом никогда не говорится, а тема смерти важна для понимания жизни. Я хотел бы теперь сказать несколько слов о реальности, которая присутствовала во всем, что я говорил о смерти, но чего я хотел бы коснуться непосредственно: *связь Христа и смерти*. То, что я скажу, быть может, слишком лично. Я это пережил, это покоится в самой сердцевине моего понимания жизни, и я хотел бы поделиться этим с вами, а вы вольны отбросить это или продумать лучше.

Когда я читаю Евангелие, меня поражает полная, предельная солидарность между Христом и нами.

Христос родился в тварный мир, со всеми ограничениями тварности. Он родился в падшем мире, в его ограниченности и ужасе. Он взял на Себя, принял в Себя все последствия греха: голод, жажду, усталость, тоску, боль. Он был отвержен. Он умер. И, поскольку Он вошел в этот наш мир, где жизнь и смерть нераздельны, нам кажется почти естественным, что Он, будучи человеком, тоже умирает. И, однако, это совершенно непостижимо. Непостижимо не то, что Христос воскрес, а то, что Он умер. В самом деле: смерть можно рассматривать только как результат — ужасный, уродливый, невозможный — нашей отделенности от Бога. Об этом говорят и апостол Павел, и Ветхий Завет; тема смерти связана с темой греха, который есть отделенность от Бога и, следовательно, от людей. Но Христос — Бог, ставший человеком. Следовательно, Он — сама жизнь. С самого момента Своего зачатия Он бессмертен, поскольку в Нем человечество нераздельно и навсегда соединено с Божеством. Когда мы поем в службе Страстной недели: «О, Жизнь вечная, как Ты умираешь? О, Свет вечный, как Ты заходишь?» — это не поэзия церковная: мы говорим нечто богословски абсолютно точное. Бессмертный в самом Своем человечестве, Христос — среди нас. Как же может Он умереть?

Он умирает свободно, «вольной волей» принимая смерть, — не потому, что она была естественным следствием Его воплощения, а добровольно, из любви к нам отдавая Свое человечество, которое за пределом умирания, во власть невозможной, чудовищной смерти. Христос умирает. Мучительство смерти раздирает Его тело, пронизанное Божеством, от Его души, также пронизанной Богом. Его тело нетленно во гробе: Он за пределами тления, которое познаем мы, потому что Он неразлучен от Божества. И Христос сходит в глубины ада в блистании Своего Божества, которое вмещает Его человеческая душа. Как же может смерть коснуться Христа? Это возможно, потому что непостижимым действием, превосходящим всякое воображение, перед которым мы можем только умолкнуть и пасть к ногам Божиим, Христос хочет разделить с нами не

только наше человечество, но и все последствия греха, тяготеющие на нас. А умереть можно, только потеряв Бога, — иначе смерти нет. Умереть можно, став в своей природе *безбожным*, в этимологическом смысле слова. И, значит, Христос умирает, разделяя наше состояние обезбоженности, нашу потерю Бога. Он соглашается на полную солидарность с нами — не только всей Своей жизнью, но и всей Своей смертью. Он стоит перед Богом *вместе* с нами, а не только *за* нас. Он — один из нас. Он соглашается стать не только *Мужем скорбей* (Ис 53:3), но и принимает осуждение, ибо *проклят... всякий повешенный на дереве* (Втор 21:23), то есть на кресте. Он отвергнут Богом, потому что захотел быть единым с теми, кто через грех потерял Бога, и Он отвергнут людьми, потому что пожелал быть и был един с Богом — единственный совершенный Свидетель, свидетель Божий среди рода, который отвернулся от Бога и не признавал иного царя, кроме кесаря. Он умирает нашей смертью. И поэтому-то Его смерть может стать нашей жизнью. На кресте Он умерщвляет нашу смерть. Он берет на Себя тяжесть всего проклятия, всего ада человеческого, и постольку поскольку Он все разделил с нами, Он может нас исцелить; поскольку Он все победил, Он может даровать нам свободу детей Божиих. Сошествие во ад, которое мы видим на иконах Воскресения, — это реальность. Христос умирает, потеряв Бога: *Боже Мой, Боже Мой! зачем Ты Меня оставил?* (Мк 15:34) — и сходит туда, куда сходят все, кто умер от разлуки с Богом, в *шеол* — место вечного, радикального Его отсутствия. Но здесь-то просиявает слава Его Божества, потому что согласившийся на разлуку от Бога был Богом! Ад побежден, нет больше *шеола* — нет больше места, где бы не было Бога. Фраза псалма: *Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в преисподнюю — и там Ты* (Пс 138:7—8), — до прихода Христа это выражение было, вероятно, неразрешимым парадоксом, поскольку ад тем и определялся, что это — место, где Бога нет. Теперь мы знаем, что выражали эти слова: Бог сошел в самые глубины не только нашего падения, но и нашей потери Бога и нашей оставленности Богом; Христос оказался там, куда мы никогда больше не попадем, потому что ад, которого Он вкусил, больше не существует.

Но как мы соединены с Ним? В силу чего то, что относится ко Христу, относится и к нам? Эта онтологическая солидарность — следствие прямого Божественного решения в соответствии с тайной любви, милосердия, а в любви есть одновременно и радостное, и жертвенное измерение. Некоторые из нас, несомненно, уже теряли дорогого человека, кого они любили больше всех. В такие моменты мы знаем, что, пока этот человек, его боль, его мука жгут нам сердце, — мы больше не принадлежим полностью окружающему нас миру. Мы убегаем от того поверхностного смеха, который принимали ранее, мы не можем продолжать жить поверхностно, мы хотим жить глубоко, в сознании величия смерти и жизни. Да, тогда оказывается, что мы не принадлежим полностью этому миру, мы уже причастны будущему веку. Мы отчасти находимся там, где теперь человек, которого мы любим. Все, что, как мы знаем, было причиной его смерти, становится нам чуждым, и мы отворачиваемся от этого. Но, если подумать о Христе, мы знаем, что Он умер от нашего греха, и если бы мы умели любить Христа, мы стали бы чуждыми убившему Его греху. Мы действительно пустились бы в поиск высшего, стали бы странниками на том пути, на который прежде нас вступил Тот, Кого мы любим больше всего — Христос, — куда вступили все те, кто нам действительно дорог и уже ушел от нас. Вы, вероятно, помните место из «Спящего Вооза» Виктора Гюго:

Но, разлученные, мы с нею слиты все же:  
Она во мне жива, а я почти мертвец<sup>44</sup>.

Вот куда приводит нас смерть каждого человека, который нам дорог. Мы все меньше привязаны к временному, то есть, в конечном итоге, к призрачному, и все больше должны укореняться в вечном и незыблемом. И когда имя любимого — Иисус Христос, если

Он — Муж скорбей, Тот, Который нас так возлюбил, что умер за нас и захотел — Он, сама Жизнь — умереть нашей смертью, чтобы влить в нее Свою жизнь, — может быть, тогда мы начинаем понимать, хотя бы отдаленным чутьем, как святые могли забыть все, отрешиться от всего, оторваться, освободиться и жить дальше на этой земле свидетелями Вечной Жизни, уже опытно им известной, с полнотой, которая нам недоступна.

Конечно, слово «любовь» мы употребляем на тысячу ладов и большей частью неуместно. Мы произносим: «Я люблю клубнику со сливками» — так же легко, как говорим: «Я люблю тебя» — Богу или той, которую мы избрали. Однако во всех этих случаях значение слова «люблю» совершенно различно. Оставим пока клубнику со сливками, оставим и Бога: подумаем о человеческих отношениях. Как часто, когда мы говорим «Я тебя люблю», «я» — огромно, «тебя» — совсем маленькое, а в «люблю» нет ничего динамичного. Можно было бы, вопреки грамматике, сказать, что это простой союз или, вернее, крючок, который позволяет огромному «я» подцепить и держать в плену то малюсенькое «тебя», которое имеет несчастье «быть любимым». Как часто в семьях, в человеческих отношениях, в порыве честности или при вспышке досады мы бываем готовы сказать: «Люби меня поменьше! Дай мне свободу, дай мне покой, дай мне быть самим собой, я хочу дышать, я — пленник твоей любви». Начиная с этого малого, убогого уровня мы можем расти, мы можем через все углубляющиеся, утончающиеся, расцветающие отношения постепенно обнаруживать: «тебя» тоже имеет личность, у него есть лицо, взгляд, душа, чувства, в этом «ты» есть вся человеческая тайна, где обитает Бог. Тогда «я» начинает у малюсенького «тебя» расти — между ними устанавливается своего рода равенство, равновесие, подлинные отношения: слово «любить» вместо того, чтобы означать простое обладание, выражает живое отношение, обмен, где и даешь, и получаешь. И если это отношение углубляется, если наш опыт любви становится тоньше и возвышеннее, тогда постепенно совершается чудо: тот, кто сначала думал только о себе самом и об обладании другим, все больше забывает о себе. Он забывает о себе до такой степени, что в конечном итоге даже не может вспомнить о своем собственном существовании, потому что существует только любимый. Это мы находим в отношении Бога к нам, Христа по отношению к нам. Христос стал рабом среди рабов, мертвецом среди мертвецов, осужденным среди осужденных, Он Себя забыл до конца, Он отдал Свою жизнь, истощил Свое величие и великолепие, лишь бы мы — мы-то! — смогли вырасти в Его меру.

Мы, при всех наших взаимоотношениях, стараемся самоутвердиться. Мы настойчиво ищем признания, хотим, чтобы наше существование было принято, хотим места под солнцем — и тем самым встречаем отвержение, потому что наш ближний тоже хочет своего места, а часто и нашего! Так что большинство отношений содержат напор, утверждение, настояние: «Я хочу, чтобы ты меня видел, я хочу, чтобы ты меня принял». В отношениях любви это требование излишне, потому что меня утверждает другой, следовательно, мне нет нужды утверждаться самому. Я существую, потому что я любим, а не потому, что требую признания. Пшеничное зерно — твердое, ограниченное, окруженное оболочкой — образец целостности, где невозможны *отношения*. Это зерно должно умереть, раствориться, чтобы стать способным на существование, которое Христос описывает в Евангелии Своим словом и Своим Образом. Утверждаемые Богом, мы можем жить. Это *отношение* — через крещение, причастие, общинную жизнь, общение святых и трагическую, мучительную солидарность грешников, сознающих себя таковыми, — и составляет наше единство, выражает нашу жизнь во Христе и позволяет нам жить в Нем. Христос, соединивший нас в Себе, призывает нас жить Его жизнью. Он предлагает нам полноту вечности, но вместе с тем, пока мы живем на земле, наша судьба может быть лишь судьбой Христа: *как Меня послал Отец, так и Я посылаю вас — как овец среди волков* (Ин 20:21; Мф 10:16). Христос уже пришел, все уже завершено, но это

завершение должно проявиться через нас динамически, через борьбу, устремленность, которая перестанет лишь с пришествием Христовым. Мы тоже должны принять слово Христа, обращенное к Иоанну и Иакову, когда они просили у Него сесть по правую и левую руку от Него в Его Царствии: *Можете ли пить чашу, которую Я пью?* (Мк 10:38) — то есть готовы ли вы погрузиться в тот ужас, который отныне принадлежит Мне: Страсть, крест, смерть, сошествие во ад? Эти вопросы Он ставит всем нам: готовы ли мы отозваться? Мы не можем принять все это, если не прикоснемся хотя бы края, грани вечной жизни. Потому что погрузиться в смерть, не имея предвкушения вечной жизни, нам страшно, мы не сумели бы этого сделать...

Если мы — христиане, мы должны *опытно* знать, что жизнь победила смерть, что мы воскресли, что мы разделяем со Христом все, что Он есть, потому что Он разделил с нами все, чем являемся мы. Мы, христиане, — люди Незаходящего Дня, Восьмого Дня. Мы уже принадлежим грядущему Царству. В Литургии есть абсурдное как будто выражение, которым мы просим у Бога дать нам участвовать *сегодня* в Его *грядущем* Царстве<sup>45</sup>. Грамматически — это безумие. Но это — безумие Креста, безумие Евангелия, безумие христианского опыта. Мы *знаем*, мы *уже* знаем, мы не могли бы совершать Евхаристию без этого знания, мы не могли бы благодарить Бога за всю человеческую историю перед лицом ее ужаса и трагизма. Не актом доверчивости, но в таинстве веры мы знаем, что победа *уже* одержана, что всякое страдание *уже* побеждено, что всякая смерть имеет смысл, что всякая трагедия не то что превзойдена, а включена в богочеловеческое становление, где она обретет вечный смысл. Мы уже можем сказать с мучениками, которых упоминает Апокалипсис: *Ты был прав, Господи, во всех путях Твоих* (Откр 15:3). Только при этом условии мы можем во всей правде совершать Евхаристию, высший акт благодарения. Иначе — берегись! Как бы Евхаристия не стала действием, которым мы благодарим Бога за то, что сами не выстрадали того, что выстрадали другие. Как бы не оказалось, что мы в состоянии благодарить Бога за человеческую историю, лишь забыв о ней.

В Евангелии мы не раз видим, как Христос совершает чудеса в субботный день. Поступает ли Он так, чтобы вызвать соблазн, чтобы создать неприемлемую ситуацию? Или — в целях Божественного научения? Мне кажется, седьмой день — суббота является тем, что один католический богослов назвал «днем человека». В седьмой день Бог почил от всех дел Своих, но Он поручил человеку завершить Его дело творения, привести весь тварный мир к полноте Восьмого Дня, то есть грядущего Царства. И Иисус, истинный Человек, становится «Господином и субботы» и призывает нас войти в этот «день человека» людьми Восьмого Дня. Он призывает нас *знать* среди этого исторического времени, которое многим кажется полумраком, где идут ошупью, Он призывает нас *быть*, и не в прошлом, и даже не в настоящем, — а в будущем. Наше дело, дело христиан, — завершить субботу. Ради этого Сын Человеческий и становится Господином и субботы. Это наше делание, это наше призвание подразумевает ответственность на всех уровнях: свершение нашего человеческого призвания, личного и коллективного, по отношению к Богу, по отношению к миру человеческому (кажется, Ламенне сказал, что христианин — это человек, которому Бог поручил заботу о других людях), свершение его по отношению ко всему земному космосу, всему громадному творению. *Бог вручил нам Свою субботу*. В этой-то перспективе мы призваны быть живыми, воскресшими из мертвых; мертвыми мы были и отчасти такими остаемся, воскресшими мы должны быть не в том смысле, что смерть нас не коснется, а в том, что мы уже — за пределом разлуки от Бога, за пределом разделения от людей, и что мы на земле, как община любви, — эсхатологические свидетели, свидетели Царства, которое будет, которое уже есть тайна Бога, ставшего всем во всем и во всех (1 Кор 15:28).

## Ответы на вопросы

*Значит ли, что отсутствие Бога есть отсутствие бытия? Можно ли сказать, что одни войдут в вечное блаженство, а другие будут вечно страдать от отсутствия Бога?*

На первую половину вопроса я отвечу, заменив слово «бытие» словом «жизнь»: отсутствие Бога — это отсутствие жизни. Можно существовать вещественно, физически, но быть мертвым среди мертвецов, погаснуть душой, быть в числе тех, кто никогда не ощутил биение жизни, ее творческий напор, в конечном итоге — тех, кто никогда не заметил, что полнота жизни называется любовь и что любить — это отдать свою жизнь. Я не хотел бы возвращаться к тому, о чем уже говорил, но думаю, что важно понять: на языке Писания и в опыте Церкви любовь — не чувство, не эмоция — это степень жизни, полнота, которая способна отдаваться бесстрашно.

Что касается вечного блаженства (вопрос об этом ставят часто), то, я думаю, на него нет исчерпывающего ответа. Мы, скорее, имеем право *на все надеяться*, чем высказывать непоколебимые *убеждения* по этому поводу. Существует мнение, что все спасутся; я думаю, об этом нельзя говорить как об «уверенности веры»: можно лишь считать это «уверенностью надежды». Мы можем с надеждой ожидать всего от бесконечной и неисследимой Премудрости Божией, мы не знаем путей Божиих. Мы не знаем, как Он, взявший на Свои плечи бремя, тяготу всего мира, сумеет в конечном итоге привести нас к вечности.

Тема последнего Суда представляет определенные трудности. Часто мы воображаем его как повторение частного суда. Каждый из нас вновь предстанет перед Богом, и в напряженной, драматической ситуации будет произнесен окончательный приговор. Но обязательна ли такая картина? Нет ли коренной разницы между частным судом и Страшным судом? Не предстанут ли на последний Суд перед лицом Божиим целые страны и народы — в своей славе, но и, вероятно, несомненно, в своем позоре? С другой стороны, когда все человечество встанет перед Богом, один из нас, людей, будет Человек по имени Иисус из Назарета. Он называет Себя — Братом нашим, Он — один из нас. Если Он — наш Судья, то Он же — и наш Защитник. Его крест не есть ли, по слову одного из Отцов, «суд над судом»?

Тема Страшного суда ставит множество вопросов, углубиться в которые сейчас у нас нет возможности. Новый ад? — Что мы имеем в виду? Место мучения? Или все тот же ад разлуки от Бога, отсутствия Его познания? — Не знаю. Мне кажется, что нам следует сохранять равновесие, колеблясь между правдой («ничто нечистое, ничто недостойное Бога и человека не войдет в Царствие Божие») и надеждой, потому что зло должно быть побеждено и может быть побеждено Богом, Христом, Христом в нас, в Его единстве с верными Ему людьми. Рай не может быть водворен насильственно, ибо любовь — это свобода, и Рай — полнота любви-свободы. Премудрость Божия глубока, как и Его любовь к людям, и мы имеем право (я бы даже сказал: мы обязаны) *на все надеяться*.

Перечитайте гимн любви у апостола Павла (1 Кор 13).

*Бог внес жизнь в ад. Но тот, кто заслужил ад, кто уже познал ад, — как может он после телесной смерти познать Жизнь?*

Мне кажется, нам следует научиться воздерживаться и не произносить суждения — ни о других, ни о самих себе. Сказав «тот, кто заслуживает ад», мы кого-то осуждаем (порой самих себя), и нам представляется, будто такое суждение благородно и справедливо: будто мы знаем достаточно, чтобы вынести такое суждение. Это не так. Мы, может быть,

достаточно знаем собственное достоинство, но недостаточно знаем пути Божии, Его мудрость и Его милосердие. «Я заслуживаю ад» — фраза, которую я считаю богословски ложной: она предполагает право судить — право, принадлежащее Одному Богу. Что касается знания ада — нам известно, что некоторые святые пережили этот опыт, но кто из нас посмел бы сказать подобное о себе? Когда мы говорим об «аде» человеческой жизни, об «аде» в обществе, о «кругах ада» на земле — мы говорим все-таки не об аде. Ад (даже оставляя в стороне образ полного, радикального отсутствия Бога) — момент, за которым *нет ничего*, это предел пути, который можно бы обозначить словом Достоевского: «Слишком поздно! Теперь я все понял, я прозрел, я бы сделал все, что надо, — и я обнаруживаю, что слишком поздно: поздно любить, поздно понимать, поздно действовать»<sup>46</sup>. В этом и будет трагедия ада, но этого мы не знаем в жизни, в жизни не бывает «слишком поздно». Пока мы живы телом, пока есть дыхание жизни в нас, пока смерть не пожалала нас — есть и будущее: один жест, одна мысль могут изменить и преобразить жизнь. Мне вспоминается случай из жизни Сиге d'Arts<sup>47</sup>: к нему однажды пришла женщина в отчаянии, так как ее муж покончил с собой, бросившись в реку. Он попросил подождать, пока он помолится, затем подозвал ее и сказал: «Утешься, между мостом и водой он пожалел о своем поступке». Порой достаточно «мгновения ока»: один вздох может все изменить.

*Если смерть — единственная подлинная мера жизни, то есть нечто благое для человека, почему Библия говорит, что она — проклятие, следствие греха? Разве Адам и Ева не изначально должны были умереть?*

Я не сказал так прямо, что смерть — единственная и подлинная мера жизни, так же как не утверждал, что она — благо для человека. Я попытался сказать — но, может быть, не сумел сделать это ясно, — что вырасти в полную меру жизни можно, только если мы готовы встретить смерть, свободно посмотреть ей в лицо, противостоять ей со всем мужеством, всей верой, всей надеждой. «Благо» — не в смертности, не в самой смерти, когда она настигает нас; положительный момент, как уже было сказано, — в том, что единственная возможность вырасти в меру жизни — это неколебимо стать перед лицом смерти, быть готовым к ней — без страха и без самоутверждения. «Быть готовым» не означает какое-то особенное состояние; это означает, что все в жизни — каждое слово, каждое движение, все самое малое — должно быть так совершенно, что, если смерть застанет в этот миг, можно было бы сказать: это последнее действие было самым прекрасным, что сумел сделать этот человек... Только зная, что смерть может нас остановить, может оборвать жизнь, мы можем постараться сделать из ничтожного поступка, из слова, как будто совсем мелкого, нечто прекрасное, совершенное. Если бы мы жили все время, стараясь, чтобы каждый миг был прекрасен и полон, вся наша жизнь в целом была бы прекрасна и полна. В этом смысле смерть — благо, смерть напоминала бы нам, что надо жить со всем напором, надо спешить жить. Нам некогда писать черновик жизни: времени хватит лишь на то, чтобы жить с полнотой, напряженно, жить всем своим существом, творя и созидая совершенство, красоту. Смерть — да, следствие греха, следствие падения, следствие нашей потери Бога, она знак и печать катастрофы, признак нашей отделенности от Бога.

*Что в таком случае изменила смерть Христа?*

Да, мы все умираем, но отныне смерть для христианина означает *успение*, означает — упокоиться в Боге, родиться в вечность. Это не гибель, не конец пути, после которого «ничего нет» — только тление тела, распад всего нашего существа. «Умереть» означает войти в вечную жизнь, где лицом к лицу живой душой мы встанем перед лицом Живого Бога. Больше того: этот переход в вечность, предстояние лицом к лицу, даже оно —



только ожидание, с надеждой, в уверенности веры, Воскресения. В Символе веры мы провозглашаем свою веру не в бессмертие души, а в воскресение мертвых. Мы несомненно верим в это воскресение, мы *чаем* его. Можно бы сказать, что мы — единственные на свете материалисты, потому что мы верим в материю, в ее способность возродиться к вечной жизни в Боге.

*Как знать, что надо совершить, как знать, что мы это совершили и теперь можем умереть?*

Ваше «можем умереть» дает мне лазейку, иначе у меня не было бы ответа на этот вопрос. Чтобы умереть, вовсе не нужно знать, что надо совершить или что уже совершено. Мы не *выбираем* смерть — она приходит к нам, *дается*, мы не выбираем ни сроки, ни то, как именно мы вступим в ее тайну. Можно сказать, что наш путь никогда не бывает завершен. Завершение означало бы, что мы достигли такой совершенной, всецелой любви, что она охватывает всех, что нет ни одного человека, кого мы не полюбили полностью, до предела, что во всех случаях наша любовь достигла своей полноты. Так вот, можно заранее сказать (об этом пишет и святой Иоанн Златоуст), что мы всегда должники в любви, в милосердии. Так что нечего задаваться вопросом: совершил ли я? Мы можем заранее ответить: *нет!* Или вопросом: что мне остается совершить? Можно сразу ответить: *все!* Тем не менее приходит момент, когда Бог в Своей премудрости, по Своей воле, вступает и пожиная нас. Достаточно знать, что наше дело — постоянно возрастать к полноте любви, учиться любить всем умом, всей чуткостью — творчески, как только мы способны, — любить деятельно, любить не только тех, к кому наше сердце обращено естественно, но и других, любить не «вообще» людей, а каждого лично, потому что каждый — единствен и заслуживает, чтобы его любили *лично*. Это мы можем помнить, вот — наша роль, наше призвание. А Бог заберет нас, когда Сам определит.

*Вы говорите, что Христос Сам пожелал умереть нашей смертью. Если так, откуда Его молитва: «Мимонеси эту чашу»?*

Христос — совершенный человек и совершенный Бог. Его воля находится в гармонии, в единстве с волей Отца, но тем не менее в Своем человечестве Он ощущает мучительную тоску и ужас смерти, как любой из нас. Я бы сказал больше: Христос, бессмертный и в Своем человечестве, — единственный, Кто мог ощутить всю чудовищность, ужас, невозможность смерти. Христос, бессмертный в Своем единстве с Отцом, соглашается стать смертным и предает Себя смерти по солидарности с нами. Он, измерив до глубин ужас смерти, как человек, в Своем подлинном совершенном человечестве обращается к Отцу и умоляет: *Мимонеси от Мене чашу*, затем добавляет: *Да будет воля Твоя* (Мф 26:39—44). В этом принятии Божественной воли человечество Христа проявляет свое совершенство, свою совершенную гармонию с Живым Богом.

*Не можете ли сказать несколько слов о самоубийстве? Как можно переносить, вернее, любить жизнь? Разве смерть — не самое желанное, что может произойти?*

Христианское отношение к самоубийству, радикальное отвержение самоубийства как попытки вырваться из жизни, которую мы находим невыносимо тяжелой, основывается, думаю, на чувстве, что покончить с собой означает отрицать возможность иного будущего, отвергать надежду. И я не говорю о какой-то далекой надежде, а о конкретной надежде в настоящем. Самоубийство означает также отвержение глубокой веры, то есть полного доверия к Богу. С одной стороны, мы проявляем недоверие к Богу, мы бросаем Ему в лицо, что наши страдания, обстоятельства нашей жизни, толкающие нас на самоубийство, — акт безумия с Его стороны и что это безумие мы беремся исправить

собственными силами. С другой стороны, мы утверждаем, что нет надежды, нет будущего, что от Бога ждать нечего. Мне кажется, духовная проблема самоубийства в этом. Конечно, в ситуации отчаяния, толкающей нас покончить с собой, смерть представляется нам самым желанным и простым решением.

Но это близорукость. Разумеется, если вечной жизни не существует, смерть может показаться самым простым и самым быстрым решением, хотя самоубийца редко думает о тех, кого покидает и кому придется столкнуться с ужасом этой насильственной, вольно избранной смерти, которая осуждает *их*. Я видел сколько-то самоубийств: всякий раз целый круг людей рассматривает это самоубийство как свое осуждение: они проглядели трагедию, не сумели с ней справиться.

Как переносить жизнь? Думаю, когда у нас нет жизненного порыва, когда под внешним давлением или от охватившей нас внутренней тоски мы не в состоянии любить жизнь, — единственное, что можно сделать, это жить из послушания. «Послушание» не означает положение раба, который покоряется, послушание — отношение того, кто признает Божественную премудрость и соглашается действовать и поступать не понимая, жить, принимая за критерий жизни, деятельности, бытия, волю иную, нежели собственную: волю Божию. «Слушаться» в первую очередь означает «слушать», *прислушиваться*: начинается это с признания, что пути Божии — не наши пути, и Его мысли — не наши мысли. Если бы послушание было только «рабством», оно лишь усугубило бы наше отчаяние: мы все больше ощущали бы себя пленниками, погрузились бы в безнадежность. Но если мы осознаем, что Тот, к Кому мы *прислушиваемся*, — Живой Бог, что мы принуждаем себя исполнять непонятную нам волю Бога Живого, то постепенно через это *послушание* мы начинаем прозревать *замысел* Божий, Его мудрость, Его пути и тогда-то примем их уже менее тяжелым сердцем, затем даже с возрастающей радостью — и, наконец, войдем в полноту жизни.

В период, когда послушание выполняется без всякого воодушевления, я думаю, можно жить так, как это излагает Диккенс. В начале приключений мистера Пиквика он описывает, как его герой нанимает фиакр, и так как этот человек полон интереса ко всему, что никакого интереса не представляет, он задает своему вознице бесконечные вопросы и, между прочим, спрашивает: каким образом такая худая, жалкая лошадедка может везти такой тяжелый фиакр? И кучер отвечает: «Ах, сударь, дело не в лошади, а в колесах! Видите ли, колеса-то огромные, хорошо смазанные. Стоит лошади тронуться, как колеса начинают вращаться, что же остается лошади? Ей приходится бежать, спасая свою жизнь». Так вот, в моменты отчаяния, когда не хочется тянуть свою ношу, можно жить по этому образу: надо отдавать себе отчет, что повозка все равно висит на нас и что необходимо бежать, устремляться вперед, чтобы повозка, которую мы тянем, нас не раздавила. И вдруг в какой-то момент мы замечаем, что повозка не только заставила нас бежать, но что мы бежим легко, сами по себе, что мы научились динамике жизни.

В проблеме самоубийства есть личная ответственность, но, с другой стороны, как я уже сказал, есть ответственность, так сказать, коллективная. В моем докладе было замечание о том, что можно умереть прежде времени, чувствуя, зная, что ты отброшен, лишний, ненужный, ты отвержен. Так вот, многие самоубийства происходят оттого, что рядом с человеком не оказалось никого, кто бы его утвердил. Никто не сказал: «Твое существование *важно* для меня, твое существование имеет ценность, потому что без тебя будет пустота, которой не заполнить ничем». Мне кажется, тут есть наша ответственность, в первую очередь как христиан, потому что у нас есть видение вещей, которое нам дает Бог в Своем Слове, в Своем Откровении, в жизни Церкви, потому что

Дух Святой говорит в наших глубинах; и есть ответственность общественная, в самом широком смысле слова.

Церковь отказывается отпевать самоубийц. Ведь чин отпевания предполагает целый ряд вещей. Невозможно просто сказать: «Господи, этот человек согрешил, но он до конца на Тебя уповал и надеялся», когда он не уповал и не надеялся. Нельзя сказать: «Человек этот согрешил, но вера его никогда не поколебалась». Ведь нельзя надсмеиваться ни над Богом, ни над усопшим. Значит, есть категория людей, которые в такой чин просто не входят. Но Церковь издавна говорила, что если человек совершает самоубийство в состоянии помешательства, «аффекта», то это надо — или можно — принять в учет. И я думаю, что приходится принимать это в учет почти всегда: я видел только одного человека, который совершил самоубийство хладнокровно (и то трудно сказать: хладнокровно ли. Ну, человек денежно обанкротился и просто испугался ответственности). Но есть и какая-то мера страха и ужаса, которую нельзя считать хладнокровием, в худшем случае в связи с этим может встать ряд вопросов. Не следовало ли бы нам иметь какие-нибудь богослужебные чины для до сих пор не предусмотренных случаев?

И, наконец, есть вопрос личный. Каждое отдельное лицо в Церкви имеет право личного милосердия. Где-то в православном сознании есть: то, чего не делает Церковь как таковая, через большую «Ц», член Церкви может делать. Я, конечно, не говорю о том, чтобы нарушать что-то, что лежит в существе Церкви. Но в житиях святых есть рассказ о том, как один священник молился о самоубийцах и его епископ запретил ему. И было ночное видение тому епископу: толпы людей кричали ему, что он их мучитель. И когда он их спросил: «Но что я вам сделал?» — они ответили: «Один человек за нас молился, и каждый раз, когда он молился и совершал литургию за нас, нам было облегчение, а теперь ты нас этого лишил». Всецерковно это ничего не меняет, а в порядке какой-то личной чуткости, личного чувства вещей — меняет. Я много лет был в приходе священника, который, с благословения нашего епископа, на литургии вставлял несколько прошений и, между прочим, молился о тех, которые «в безумии сердца и помрачении ума руки на себя наложили». И мы десятилетиями молились в такой форме. Такая формулировка в его устах была не лукавая, совершенно прямая, и, конечно, это покрывает огромное поле, потому что *о ком* можно сказать, что он не был помрачен умом или безумен сердцем? Я с ним тогда говорил об этом, потому что очень этому сочувствовал, и мы оба радовались, что эти слова нам дают право молиться о всех, а вместе с тем не говорят ничего больше, чем можно сказать.

*Что вы думаете о мнении, будто страх смерти порожден психологией человека, обусловленного обществом и религией? Животные не боятся смерти...*

У меня впечатление, что такое мнение отражает оптимизм, которого нет у животных. Когда животные чувствуют, что их ведут на бойню, несут утопить или как-то уничтожить, они испытывают глубокий ужас. Сходите проверить на бойню, понаблюдайте кошку, у которой отняли котят, чтобы утопить их: вы не будете так уверены, что животные (которые не обусловлены обществом и религией) не боятся смерти. Смерть — реальность настолько противоестественная, что все в мире, любая тварь, трепещет перед ней.

Что касается обусловленности, я думаю, смерть нам предстает по-разному, в зависимости от возраста и положения. Мне кажется, что обычно мы начинаем задумываться о смерти несколько запоздало. Мы думаем о ней, когда она начинает разрушать наше тело, когда нас настигают старость или болезнь, когда мы начинаем рассыпаться, когда угасает в нас жизненная сила. Тогда мы задумываемся о смерти — и думаем о ней ложно. Чувствуя в

себе силы распада, мы думаем, будто смерть — не что иное, как последний этап этого распада, ничего больше. Разумеется, наше тело будет разлагаться и обратится в прах. Но смерть несет не только распад. Часто можно видеть, что по мере того, как слабеет тело, внутренняя *жизнь*, настоящая жизнь нарастает до такой степени, какой человек не знал раньше.

Когда мы молоды, мы не думаем о смерти, потому что она нам чужда, — разве что она отняла у нас близких, родителей. Но в других отношениях она нам не чужда, и вот тогда-то и нужно думать о смерти, потому что тогда мы можем рассматривать ее самые различные аспекты. Я уже много распространялся на эту тему, но сказал гораздо меньше, чем надо бы. Страх смерти охватывает нас в первую очередь изнутри. Страх поддерживается обществом — не потому, что оно *хочет*, чтобы мы боялись смерти, а именно из-за нашего нелепого к ней подхода. Долгое время смерть окружали всякой жутью. Не знаю, существует ли это еще, но вспомните «похороны по первому разряду» — черные драпировки и тому подобное, и все это здесь, во Франции. Смерть окружали мрачной атрибутикой — и не только общество в целом, но и Церковь. В этом смысле ответственность лежит и на религии. Смерти надо вернуть ее значение рождения в вечную жизнь. В Православной Церкви похороны совершаются не в черных, а в цветных облачениях, потому что в действительности тут — радость. Мы стоим на отпевании с возжженными свечами, служба подобна воскресной утрени. Нам следует вернуться к такому отношению. Разумеется, в измельчавшем обществе, где окружающие гроб видят в нем только разрушение, это невозможно. Мне кажется, однако, что обусловленность лишь развивается на основе уже наличествующего страха. Мне некогда распространяться о подоплеке этого страха, но она совершенно основоположна: смерти не должно быть, и все живое реагирует на смерть одним: «Нет!»

*Почему у Серафима Саровского в келье был гроб? Откуда такая как будто нездоровая черта у человека, который так сиял светом? Как смерть может стать другом, сестрой, почему она должна стать близкой?*

Я не думаю, что здесь — «нездоровое отношение». Святой Серафим Саровский смотрел в лицо смерти в *надежде воскресения*. Это — напоминание, что, засыпая, мы вступаем в опыт смерти. По сути, у нас огромный опыт смерти. Ведь подумайте: мы засыпаем каждый вечер и погружаемся в полную бессознательность, из которой воскресаем утром. Это нас не пугает. То же самое с верующим, который усыпает в вечность. Есть молитва в этом направлении в англиканском молитвослове и в наших вечерних молитвах: *Неужели мне одр сей гроб будет?* — молитва Иоанна Дамаскина. И не сна следует страшиться, потому что он похож на смерть, — а смерть должна для нас стать родной и привычной, как сон, потому что мы так хорошо ее знаем через наш опыт засыпания, ухода как бы в небытие сна. Так что Серафим Саровский — пример того, кто каждый вечер погружается в сон, от которого, может быть, восстанет пред лице Божие, а может, вернется к земной обыденности. Это — не нездорово, не мрачно, это — просто, радостно, привычно; конечно, это напоминание — но с надеждой на вечную жизнь.

Да, подвижник призван постоянно смотреть в лицо смерти, и причины этому я уже изложил и возвращаться к ним не буду: смерть — дверь, открывающаяся в вечность, смерть — высвобождение из порочного круга жизни в падшем мире, откуда нет пути к Богу; смерть позволяет вырасти в полную меру человека, то есть в меру Бога.

Смерть — подруга, сестра? Это — поэтические выражения, а я не поэт. Франциск Ассизский называл смерть сестрой<sup>48</sup>. Быть может, позволительно сказать (но боюсь, это неудачная шутка), что, поскольку мы полны жизни, постольку и смерть становится

близкой, дружеской, становится не врагом, а именно как вторая сестра, в свое время возьмет нас нежно в свои руки и унесет в Царство Божие.

*Как стать живым, «ожить из мертвых», когда нет хороших корней, когда знаешь только человеческую злобу? Как найти любовь Божию, когда не знал материнской любви и место матери занимала личность скорее отрицательная?*

Я хотел бы сказать две вещи. Первая (повторюсь): подобная ситуация — как раз предмет коллективной ответственности. Да, возможно, отца, матери не доставало, и те, кто был призван их заменить лаской и любовью, возможно, были жестоки и не способны *давать*. Но куда смотрели окружающие? Что делали соседи, друзья, школа, приход, что делала Церковь? Вот где наша коллективная ответственность. И эту ответственность *можно* пронести: есть множество случаев, когда оставленные близкими люди находили любящее сердце, которое открыло им, что можно встретить любовь и, значит, можно жить.

Но есть и личная сторона — и тут, думаю, я обращаюсь к человеку с призывом вырасти в героическую меру. Принять свое прошлое, принять бросивших нас родителей и тех, кто их недостойно заменил, не сумев полюбить нас, можно через прощение. Но прощение надо понимать несколько иначе, чем это делается обычно. Слишком часто мы считаем, что *простить* означает «забыть», «зачеркнуть», «навсегда изгладить» какое-то событие. Мне думается, это не так. Прощение начинается гораздо раньше, оно не устояло бы, если бы речь шла просто о том, чтобы «зачеркнуть» нечто. Прощение начинается в момент, когда человеку, который всей своей тяготой, своей жестокостью, своей безответственностью раздавил нас, мы говорим: *«Я тебя принимаю. Я тебя принимаю, я тебя беру на свои плечи, как Христос взял крест. Я тебя принимаю, каков ты есть, как крест, на котором я, быть может, умру, но тогда получу право сказать: Отче, прости ему, он не знает, что делает»*. Прощение начинается в момент, когда я принимаю виновного, ничего не требуя, не говоря ему: я тебя отброшу, если ты не переменишься, не спрашивая его: переменился ли ты достаточно, чтобы заслужить мое прощение? Мы можем взять на себя — словно крест, который нес Христос, — тяготу тех, кто раздавил нас, и на этом пути к Голгофе, через наше соучастие в Страстях Христовых, через наше собственное крестоношение, наше прощение получает преображающую силу. Жан Даниелу как-то сказал, что страдание — единственная точка соприкосновения между злом и его невинной жертвой. Когда зло, словно нож, врезается в душу или тело человека, жертва, страдая, приобретает подлинную божественную власть *простить*, сказав Богу: «Господи, по Твоему примеру, по Твоему учению я простил. Тебе нечего взыскать с него». В этом — сила прощения, которое принадлежит нам, когда мы являемся жертвой, и сила возрождения для тех, кто виновен перед нами. Если они живы, их может коснуться благодать, если они умерли, их может покрыть прощение от Бога. Примирение — дело божественное, но и нам оно доступно. Я знаю, мои слова звучат призывом к подвигу. Но христианская жизнь, христианское обновление, воскресение, восстанавливающее нас к жизни от смерти, — не просто дар от Бога: оно требует от нас предельного усилия, вседушной, *всецелой* отдачи себя, стремления стать во Христе искупительной жертвой, если придется — стать, по Его образу, *Мужем скорбей* (Ис 53:3).

## Православная философия материи<sup>49</sup>

Слишком часто мы по привычке, по инерции, по лени ума, не только неверующие, но и верующие, думаем о материи, будто она инертна, мертва. С точки зрения нашего субъективного опыта, это действительно так. Но с точки зрения философии материи, с точки зрения ее соотношения с Творцом, Который державным словом ее призвал из небытия к бытию, все имеет жизнь: в каком-то смысле, все Богом сотворенное может

участвовать радостно и ликующе в гармонии твари. Иначе если бы материя была просто инертна и мертва, то всякое Божие воздействие на нее было бы как бы магическим, было бы насильем, материя не была бы послушна Ему, те чудеса, которые описаны в Ветхом или Новом Завете, не были бы чудесами, то есть делом послушания и восстановления утраченной гармонии. Это были бы властные действия Бога, против которых материя, сотворенная Богом, не могла бы ничего. И это не так. Все сотворенное живет, на каждом уровне тварной жизни, своей особенной тварностью. И если мы умели бы в нашем очень часто холодном, тяжелом, потемневшем мире уловить то состояние материи, которое нам больше недоступно, потому что мы ее видим не Божиими глазами и не изнутри духовного опыта, мы видели бы, что Бог и все Им сотворенное связаны живой связью.

Это очень важно для нашего религиозного сознания, потому что на этом основано очень многое не только в нашей религиозной вере, но и в нашем религиозном опыте. В нашей религиозной вере с этим связано понятие чудес, связана самая возможность и значительность Воплощения, то есть того, что Бог облекся плотью, соединив с Собой материю этого мира. С этим связана мысль о том, что в Своем Вознесении Господь эту нашу плоть, опять-таки материю, Им же созданную, унес с Собой в глубины Троической тайны.

С другой стороны, когда мы говорим о преображении всей твари, которого ждет человечество верующее, мы о том же говорим: не о том, чтобы мертвая материя засияла мертвым блеском, а о том, чтобы она засияла внутри обновленной и возрожденной жизненностью, чтобы в ответ на Божие прикосновение, на приобщение к Божией благодати, она ликующе начала жить. И в этом тоже — и это очень важно для нас — глубина и значение таинств. Таинства — это не пустые обряды, это события, в которых человек своей верой, то есть уверенностью, что Бог есть, доверием к Нему, любовью к Нему, отдает Богу и вводит в область небесного, высвобождает материю, возвращает ее к первичной или к конечной славе и свободе. И материя, освященная этим освобождением, этой пронизанностью Божественной благодатью, в свою очередь, возвращаясь к нам, прикосновением, приобщением обновляет нас в той мере, в которой мы способны это воспринять и вместить. А что это так, мы видим из религиозного опыта: именно через нашу плоть, через нашу вещественность Бог может на нас воздействовать. Непонятно, но безусловно.

## **Тело и материя в духовной жизни<sup>50</sup>**

Этот доклад родился как ответ на вопрос, который мне был поставлен некоторое время тому назад, о том, может ли кто-то, у кого отсутствует осознанная психологическая жизнь, например умственно неполноценный человек, иметь жизнь в Боге. Этот вопрос заставил меня вдуматься в проблему тела и в проблему духа и их взаимоотношений с Богом.

Я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что, когда мы говорим о нашей духовной жизни, мы почти всегда (разве что мы очень вдумчивы) подразумеваем психологическую область нашей природы. Мы говорим о своей духовной жизни в терминах нашего умственного познания Бога, нашего эмоционального отклика в свете того, что мы называем своим сознанием. Это, однако, очень ограниченная область. Мы знаем из психологии, и не только новейшей, но издревле, что существует целый мир полусвета и тьмы. Из полусвета возникают и в нем же исчезают воспоминания, то, что мы поначалу помним так ярко, но что постепенно тускнеет. Существует и весь тот мир, который глубоко исследован, но который надо открывать все дальше, все глубже, — бессознательная жизнь человека.

Но помимо этого следует помнить, что человек — не просто душа или сознание. Всецелый человек состоит из тела и души вместе, и полнота человека — только в их общности. Православное учение определенно утверждает, что даже полнота вечного блаженства станет достоянием святых, лишь когда они облекутся в тело воскресения. Полнота человека воплощенная, она никогда не разделена на две половины. Тело без души становится трупом, отделенная от тела душа становится усопшим, покойником. Подлинный человек — человек воплощенный.

Если мы ищем в человеке то, что не подвержено произвольным толкованиям и непрестанной изменчивости, то, конечно, следует обратиться не к его сознанию. Область человеческой психики в постоянном движении, ежеминутно меняется, как поверхность моря. И это не удивительно. С одной стороны, эта область сознания расширяется или сужается согласно законам нашей физической и психологической природы, с другой стороны, она, подобно поверхности озера, отражает то, что происходит в нашем духе и теле. Что бы ни происходило на той глубине или на той высоте, которую мы называем духом человека, каковы бы ни были взаимоотношения между этим духом и Духом Божиим — все отражается в нашем сознании; и что бы ни случилось с нашим телом, будь то просто физические состояния здоровья или болезни или высшая деятельность человеческого ума, это тоже отражается в нашем сознании. Но хотя и в том, и в другом случае следовало бы говорить об отражении, а не о чем-то, что всецело принадлежит области души, *ψυχή*, сознания, отражение означает, что отраженный образ лишь отчасти истинен. С одной стороны, когда мы глядим на поверхность озера и видим небо, мы не видим все небо. Мы не видим даже того, что могли бы увидеть, если бы подняли взор ввысь. Мы видим малую частицу неба — ту, что вмещается в масштаб озера. С другой стороны, достаточно бросить небольшой камешек в воду озера, достаточно, чтобы поверхности озера коснулся легкий ветерок — и все очертания изменяются. Небо, и облака, и все, что растет на берегах озера, приходит в движение и как будто изменяется. Если, глядя в зеркало, вы хотите сделать вывод относительно того, что оно отражает, вы должны быть очень осторожны: отражение неполно и всегда в той или другой степени искажено, и очень часто, как в случае с озером, все в нем перевернуто. Это не просто шутка. Если посмотреть, каково наше взаимоотношение с Богом, так часто мы рассуждаем о Боге, исходя от самих себя, вместо того чтобы начать с Бога и продумывать самих себя по отношению к Богу. Мы еще недостаточно духовно опытны, чтобы подходить к этому правильно.

Ясно, что между телом и душой человека существует глубокая связь. Это легко увидеть на двух уровнях. С одной стороны, общеизвестно, что в последнее десятилетие большое внимание обращается на психосоматические болезни. Нам достоверно известно, что происходящее в душе человека не только каким-то образом отражается на состоянии его тела, но и, в соответствии с определенными механизмами, систематически вызывает всегда один и тот же отклик в различных органах тела, в частности в нервной системе человека. С другой стороны, если мы обратимся к области религиозного и духовного опыта, будь то Запада или Востока, мы видим, что издревле существовало ясное понимание того, что между душой и телом, между психикой человека и телом, которым он обладает, есть двусторонняя связь. И хотя верно, что происходящее в душе отражается в теле, наносит ему ущерб, часто изменяет тело, верно и то, что тело, со своей стороны, имеет большое влияние на психологическую область человеческой жизни.

Если вы изучаете психологию и физиологию, вы легко заметите на уровне элементарной физиологии, что каждое психологическое событие, каждое эмоциональное движение, любая интеллектуальная деятельность в результате приводит к изменениям в железах, в мускулах и так далее. Если посмотреть на статую работы Родена «Мыслитель», то вы

ясно, на пластике, увидите, что я имею в виду. Человек сидит, задумавшись, но когда вы видите эту статую, вам ясно, что он думает не только мозгами. Он думает — весь. Все его тело склонилось и мыслит, он думает каждым мускулом, каждой частью своего тела, всем положением своего тела. Это человек, превратившийся в воплощенную мысль. Если предпочитаете, можно сказать, что на какой-то глубине мысль и ее воплощение совпадают, становятся одно. Разумеется, когда наша мысль поверхностна, она более ограничена и не воспринимается нашим телом так явно.

Этим знанием пользовались подвижники-исихасты<sup>51</sup> XI—XIV веков, чтобы выработать метод, приводящий к психологическому состоянию, при помощи которого можно затем молиться нерассеянно. Психологическое состояние полного внимания, полного высвобождения от страсти и беспорядочных мыслей достигалось при помощи физических приемов. Эти приемы никогда не рассматривались, будто они и есть молитва. Это были приемы, при помощи которых создавались условия для нерассеянной молитвы. Они охватывали и движения страстей, и беспорядок в мыслях.

Однако о человеке сегодня мы привыкли думать в умственных категориях, мы думаем о человеке и его интеллекте или эмоциональной жизни в той мере, в какой то и другое является частью его сознательной жизни, и забываем, что у человека гораздо более глубокие корни, забываем, что интеллект, которым он так гордится, и эмоции, которые он совершенно не в состоянии контролировать, далеко не составляют всецелого человека. Бытие человека коренится в воле Божией. Каждый из нас существует, потому что Бог его возжелал. И эта Божественная воля не есть проявление власти и как бы снисхождения, а акт любви: Бог создает человека ради того, чтобы сделать его участником всего, чем Сам обладает, почти всего, что Он Сам есть. Мы боги по призванию. Разница между нами и Богом в этом процессе достижения обожения в том, что мы можем быть богами по приобщению, не по природе, подобно тому как Христос стал человеком, приобщившись нашей природе, будучи Сам по Себе Богом. Мы укоренены в этом действии Божиим, в этом творческом слове Божиим, обусловленном Его волей и любовью. Мы не самобытны; что касается нашей природы, у нас нет корней и в Боге, и потому мы полностью зависим от Него и вместе с тем странным образом независимы. Мы существуем, потому что Бог нас возжелал и вместе с тем потому что мы Богу не необходимы: Богу не было необходимости творить нас, чтобы Самому быть Богом. Мы, в некотором смысле, «лишние» Ему, Он — полнота и без нас, и поэтому у нас есть своего рода независимость. Мы не являемся Его отражением, мы не являемся Его тенью, мы не являемся как бы уменьшенным выражением Его бытия. Мы стоим лицом к лицу с Богом, черпая свое бытие из Его воли и, однако, независимые от Него, потому что можем или принять, или отвергнуть и Его Самого, и все, что Он нам предлагает, любой Его дар. Воля Божия всемогуща. Он Творец, Он самовластен, Он может все — кроме одного: Он не может заставить никакую тварь любить Его, потому что любовь царственно свободна и несовместима ни с принуждением, ни с предначертанностью.

Когда мы говорим, что Бог нас возжелал, потому что прежде существования мы уже возлюблены Им, мы этим определяем самые корни, самое основание, на котором зиждется наше бытие. Но не следует заблуждаться: мы — не чисто духовные существа, мы — не душа, заключенная в теле или на время связанная с телом, мы — воплощенный дух, и полнота человека не в его духе или его душе, а в его духовно-душевном единстве с телом. В этом отношении наше тело бесконечно более значительно и обладает бесконечно большими возможностями, чем мы обычно думаем. Если обратиться к библейскому откровению, к духу и к событиям Ветхого и Нового Завета, думаю, становится ясно, что все созданное Богом было создано полным жизни, живым, а не инертным и мертвым. Мы говорим о мертвой материи, об инертной материи, потому что сами ослеплены и



нечувствительны к жизни вещей и материя представляется нам тяжелой, непроницаемой и безжизненной. Но для Бога она вовсе не такова. Бог все создал таким, что оно способно жить и радоваться в Нем. Это не означает, что у предметов есть такого же рода сознание, какое есть у нас, но можно ли утверждать, что тот разум, то сознание, которое есть у нас, — лучше, глубже, более восприимчиво к Богу, чем какое-либо другое возможно существующее сознание?<sup>52</sup> Все творение существует в Боге, все способно познавать своего Господа, способно радоваться на своего Спасителя и способно сиять, отражать свет Самого Бога. В противном случае все чудеса Ветхого и Нового Завета, которые касаются природы и телесности, становятся не чудесами уже, а магическими актами, не проявлением гармонии, дружбы, не откликом послушания и радости со стороны природы, которая слышит слово Божие и прозревает Его волю, — они становятся односторонним (следовательно, неосмысленным) действием силы, проявляемой над пассивной природой, в центре их Бог и человек, но вся полнота творения остается вне. Когда Господь Иисус Христос повелевает бушующим волнам улежаться и ветру утихнуть над морем Галилейским (Лк 8:23—25), когда в различных событиях Нового Завета Он повелевает стихиям отозваться на Его голос, когда Он воссоставляет Лазаря (Ин 11:1—44) или совершает другие дивные чудеса, это показывает, что между Ним и творением Божиим есть отношение, взаимосвязь, есть гармония.

Чудо нам кажется исключительным явлением, на самом деле это не так, чудо — нормальное взаимоотношение между Богом и созданным Им миром, гибкое, живое, полное любви взаимоотношение, которое может существовать между Богом и тем, что Бог сотворил способным любить Его, слышать Его голос. Это, мне кажется, соответствует библейскому богословию, это соответствует учению апостолов и учению, и самой жизни, и опыту Церкви. Описание этого опыта мы находим, например, в творениях святого Симеона Нового Богослова. Он вернулся из храма, причастившись Святых Тайн, он сидит на своем ложе и размышляет. Он озирается вокруг, смотрит на себя и дивится. Эти руки (говорит он), хрупкие, бессильные, — это руки Самого Бога, это тело, жалкое, старое, слабеющее тело, вмещает присутствие Божества, и эта келья, малая и жалкая, — больше небес, потому что содержит Бога. . . Это не аллегория, не выдумка или воображение, это непосредственный, глубокий, конкретный опыт, коренящийся во всем Ветхом и Новом Завете. Все, что сотворено Богом, пребывает в Боге, в глубоком соотношении с Ним, способно почуять Его, познать Его. Если бы только мы могли сознавать потенциальные возможности всего Богом сотворенного! Я сейчас думаю не о том, что открывается науке, не о необычайных возможностях атома — я говорю о чем-то более глубоком, о более глубинных свойствах материи, чем ее естественные качества. Нет ничего в этом мире, от мельчайшей пылинки до величайшей звезды, что не содержит в своей сердцевине, не несет в своих глубинах, так сказать, трепетность, радостное волнение первого момента бытия, своего становления в бытие, обладания бесконечными возможностями, когда все входит в Божественную область, так что познает Бога и ликует в Нем. Мир кажется нам темным, непрозрачным, непроницаемым и густым, но это потому, что случилась трагедия, которую мы называем *падением*, как бы ни определять то событие, в результате чего царственная свобода послушания и гармонии сменилась жесткими правилами и законами, которые уходят на какую-то глубину, но тем не менее не до конца покорили рабству то, что Бог создал для свободы.

Эта способность мира, способность материи этого мира (оставляя в стороне нашу душу и дух) быть в Боге и вмещать Бога, с одной стороны, является условием Воплощения, и с другой стороны, на ней основана наша вера в таинства. В Воплощении Бог, у Которого нет общей меры с тем, что Он сотворил, становится соприсушным Своему творению, облекается в человеческую плоть, в которой содержится все существующее, все, что есть в этом тварном мире. Он воспринимает все вещество этого мира, и это вещество не только

Его собственного исторического тела, но всего мира, таинственно, невообразимо, личным образом соединяется с Самим Богом. И когда после Воскресения Христос возносится на небо, Он таинственно уносит все вещество нашего мира в самые глубины Божественной реальности. Бог присутствует в мире, становится частью не только его истории, но его существа, и мир присутствует в Боге.

На этом, а также на том, о чем я говорил раньше, основана наша вера в таинства, в таинственные действия, совершаемые в Церкви силой Божией, посредством которых вещество этого мира приобщается Божественной области и становится способным донести ее до нас. Воды крещения, елей помазания, миро, хлеб, вино приносятся Богу, изымаются из контекста этого мира, который стал *безбожным*, они вносятся в Царство Божие и вновь обретают свободу, освобождаются действием человеческой свободной воли и веры и действием Божественной любви. И сами эти предметы, не аллегорически, не внешним образом и как бы независимо от Божественного действия, сущностно становятся проводниками Божественной силы, Божественной благодати, Божественного света, сами становятся чудом, чудесным явлением, потому что они восстановлены к цельности и к способности всей твари свободно общаться с Богом.

Если помнить это, мы должны понять, что корни нашего взаимоотношения с Богом — не только в нашем рассудке, уме, не в эмоциональной сфере, доступной нашему сознанию. Это взаимоотношение обнимает все без исключения в нас. Ведь, действительно, когда Бог хочет достичь до нас, падших созданий, не способных достичь до Него, Он совершает это через наше тело и при посредстве вещества этого мира. На наш акт веры Бог отвечает чудом крещения, то есть соединения. На наш акт веры в пределах уже существующего взаимоотношения Бог отзывается, делая нас причастниками Своего Тела и Крови, причастниками Божественной жизни. Все значительные события христианской жизни коренятся в материи, не в духе, потому что прежде чем наш дух научится быстро, живо отзываться, его следует воспитывать и укреплять, и тем не менее Бог достигает до нас, когда мы на самом дне: где изобилует грех, преизобилует благодать (Рим 5:20). И мы даже не задумываемся о том, как много мы познаём таким образом и как мало мы знаем умом о том, на что способно наше тело. Как много можно передать — и сейчас я говорю на уровне просто человечности, хотя это и выходит далеко за ее пределы, — прикосновением руки; как многое наше тело способно воспринять непосредственно, сколько в нем знания и мудрости.

И когда мы думаем о человеке, мы должны помнить, что в нас есть две стороны: сознание, разум и другая сторона, которую невозможно назвать сознательной или бессознательной, — физическая, материальная сторона, у которой есть свои свойства и способности, о каких мы даже не подозреваем, мы лишь порой прозреваем их на миг в жизни святых или в событиях собственной жизни. Надо также помнить и то, что даже в области, которую мы самодовольно называем областью сознания и разума, очень многое не принадлежит сфере рационального, хотя не имеет ничего общего с неразумностью. Есть области нашего восприятия жизни, нашей деятельности, которые не относятся к области интеллекта и где ум, по выражению Семена Людвиговича Франка, играет свою настоящую роль — роль слуги; любовь, чувство красоты, чувство благоговения — все это далеко выходит за пределы области ума. Так что когда мы думаем о том, каково взаимоотношение между Богом и нами, мы должны помнить, что это взаимоотношение коренится в первую очередь в том, что Бог нас возжелал и возлюбил. Вспомните слова апостола Иоанна Богослова: дивно не то, что мы любим Бога, но что Он первый возлюбил нас (1 Ин 4:10). И это верно не только по отношению к падшему человечеству, к акту спасения, но к самому нашему бытию, к тому, что Он создал нас, и все, что Он создал, глубинно связано с Ним.

Что же можно сказать конкретнее о взаимоотношении, которое существует между Богом и нами помимо умственной области или когда умственно мы не способны на такое взаимоотношение? Помимо области ума, как я уже сказал, существует основное взаимоотношение: наше сотворение Богом, первичное положение материи по отношению к Богу, основоположное значение тела как неотъемлемой части человека, а значит, участника его предназначения к спасению. Да, бывает, что Бог достигает до нашего тела через посредство духа и души. Афонский старец Силуан говорил, что благодать доходит до нас, так сказать, тремя потоками: мы сначала соприкасаемся с благодатью в молитве, в размышлении, на вершинах нашего существа, в духе; когда наш дух пропитан благодатью, благодать заполняет нашу душу, то, что можно назвать областью психики, сознательного и бессознательного, и отсюда благодать доходит и до тела нашего; из жизни святых можно видеть, что они отличались от нас не только духом, не только умом, но и в теле. Все основное в нашей духовной жизни исходит не из нашего разума — разум только воспринимает то, что происходит в нас. И в самом деле, Бог достигает до нас таинствами, чудесами, всем, чем Он воздействует непосредственно на нас, включая и наше тело.

Вся христианская педагогика основана на том, что мы признаем, что разум не создает ситуацию, но обнаруживает ее, охватывает ее. Мы не стремимся сначала научить ребенка — да и взрослого человека — тому, что такое вечная жизнь, мы верим, что сначала можем дать ему опытное переживание ее, только потом он начинает что-то понимать. Многое недоступно на уровне интеллекта, но уловимо опытным переживанием. Это относится не только к религиозной области, это относится к красоте, к искусству, это относится к любви. Мы не предлагаем человеку доказательства, что музыкальное произведение или картина прекрасны, прежде чем дать ему пережить красоту музыки или живописи. И как ни богата мировая литература поэзией и прозой, где говорится о любви, в которых любовь описывается, сколько-то передается, ее невозможно передать, пока у человека нет прямого, личного опыта любви. В этом же порядке нам преподаются таинства, и затем, по мере того как мы возражаем умом, чувствами, волей, физическими свойствами, нас учат и люди, и Бог, как понимать собственный опыт, как прозревать действие Божественной благодати, как понимать то, что иначе мы никак не могли бы понять. Все это относится к области, где невозможно никакое сравнение: все сравнения доносят смысл только до того, кто уже опытно познал самое переживание. Иначе они только уводят в сторону.

Вот моменты, которые я хотел отметить в отношении материи этого мира, которая изначально появилась из ничего державным действием Божиим в радости, в гармонии, которая теперь омрачена человеческим грехом и остается потемненной, потому что плоть — это соvrащенность тела. Но когда тело освобождено от страсти и от зла и входит в таинство Божественной жизни, бывает преображено, тогда Божественная слава достигает глубин, на которых тварь, созданная чистой и живой в Боге, все еще полна первого трепета зачинающегося света. Вот что является и путем, и целью подвига. По слову отца Сергия Булгакова, чтобы приобрести тело, надо убить плоть<sup>53</sup>. Убить все страстное, убить тленное, убить смертное, и тогда обнаружишь, что тело, которым ты обладаешь, сродни всему сотворенному и вместе со всем тварным, но в такой мере, которая превосходит всякое воображение, реально соединилось с Самим Божеством в Воплощении. Воплощение — самовластное действие Божие, которое через все домостроительство спасения ведет к его завершению в преображении мира, когда *Бог будет все во всем* (1 Кор 15:28).

## **Ответы на вопросы**

*Где лежит граница между духовностью и душевностью? Как самому узнать, что тобой двигало? Где кончается психология и начинается что-то высшее? Какие принципиальные признаки различия болезней — душевных, невротических, психосоматических?*

Я не уверен, что о себе самом можно знать столько, сколько можно ощутить в другом; одно мне кажется достоверным: духовное не есть просто продолжение или высшее выражение душевного, совершенство душевного. Нельзя сказать, что где-то кончается душевное и начинается духовное: есть какая-то область, где самым нормальным образом совершается взаимное проникновение. Трудность опознать, где что начинается или кончается, в том, что духовный опыт мы сознаем в душевной плоскости: все духовные явления так или иначе отражаются в нашей психической области. Скажем, благоговение, радость, страх Божий (в хорошем смысле, не в смысле испуганности перед Богом, а благоговейный трепет) — это духовные явления, но охватывают нас душевно и физически, отражаются в этой области и делаются предметом нашего сознания. Старец Силуан говорил, что благодать достигает нашего духа, затем нашей души — психики — и, наконец, заполняет нашу плоть; это, конечно, предел, говорящий о святости. Просто я не знаю такого критерия. Если можно так выразиться, иногда, имея дело с другим человеком, на нюх как бы, на слух какой-то, знаешь: вот, это душевный человек говорит, а вот в это мгновение человек тебе сказал что-то, что принадлежит к области духа.

Делатели молитвы Иисусовой большое внимание обращали на физические феномены: у них преимущество то, что их не создашь искусственно, поэтому, если какой-то феномен присутствует, он вне вашей воли, вашего выбора и потому может являться объективным элементом в расценке. И духовные наставники говорили, что такие-то и такие-то физические ощущения, переживания относятся к той или другой области, но опять-таки, нужно, чтобы говорящий знал, о чем говорит, чтобы он сам прошел этот путь.

Аскетическая традиция считает область телесности гораздо более надежным путем к пониманию того, что происходит в духовной области, чем душевность. Духовный опыт достигает нашего тела, и подобно тому как Божество Христа исполняет тело Его Воплощения, так благодать Божия преображает наше тело. Этим объясняется, почему в житиях святых дееспособен, стремясь довести до нашего сознания, насколько глубоко человек был укоренен в Боге и жил благодатью Божией, описывает его подвиги. Мы видим невообразимое воздержание святых, их невероятные бдения, они принуждали свое тело к тому, что совершенно недостижимо нам. Эти описания не имеют целью поразить нас физическими достижениями святых, это просто способ косвенно указать, что святые настолько полно жили в Боге, что не нуждались почти ни в чем земном. Но аскетическая традиция предостерегает нас от опасности, заключенной в душевности. Душевность — область воображения, фантазии, ложных толкований, именно эта область нуждается, чтобы ее очистил, просветил Бог, наполнил Собой, наше дело — открыть Ему доступ путем собственной трезвости, путем неустанной борьбы с воображением. И тем не менее мы должны жить с той душой, той душевностью, какая у нас есть, мы не можем познать ни Бога, ни благодать, ни многие взаимоотношения иначе как на этом уровне.

Священник не может быть профессиональным психиатром, но священник должен по крайней мере достаточно интересоваться тем, что происходит с людьми вокруг, чтобы иметь какие-то познания о том, как проявляется душевная болезнь. Когда душевнобольной человек оказывается и верующим, его душевное состояние отбрасывает тень на все, в том числе на его жизнь в Церкви. И очень важно, чтобы священник был в состоянии различить, где болезнь, а где подлинный мистический опыт.

У меня был, косвенно, только один интересный опыт в этой области. Англиканский монастырь послал мне послушницу, у которой были какие-то странные психические явления. Они сначала послали ее к психиатру; психиатр оказался редкостный: он ее освидетельствовал и сказал, что ничего общего с этим не имеет, это не относится к психике, он такого не знает, такого нет в его области, это духовная проблема. Не знаю, почему, но ее послали ко мне. И что мне было очень интересно: она начала описывать свое состояние, я ее остановил и сказал: «Не описывайте, я вам его прочту». Взял Исаака Сирина и прочел отрывок, где было описано ее состояние и сказано, как выйти из него. Вот единственный раз, когда было так ясно, потому что это была не моя оценка, где духовное, где не духовное. Профессиональный психиатр сказал: «Это не моя область» — и Исаак Сирин ответил: «Да, но моя». Я тут был ни при чем, что, в общем, очень приятно: есть какая-то достоверность, уверенность, что это правда, а не мои выдумки.

С другой стороны, определенно есть люди, у которых развиваются психические болезни, не обязательно зависящие от их духовного состояния: они являются как бы плохим испорченным действием естественной сферы, а не сверхъестественной.

*Вы говорили о духовности и о душевности как о разном. А есть ли у них какие-нибудь точки соприкосновения? Можно ли по опыту душевного судить о прогрессе духовного?*

Я думаю, что абсолютных критериев нет, но есть указания. Скажем, святой Серафим Саровский в двух поучениях говорит о том, как распознавать действия Божии от действия темной силы. Действие Божие дает мир, радость, уму — свет, сердцу — горение, всему нашему существу — смирение и забвение о себе. Приближение духа тьмы дает тревогу, безрадостность, холод, потемнение ума, сосредоточенность на себе, презрение к другим. Это все признаки душевные, которые дают возможность распознать, что делается в области духовной. Но не всегда можно сказать, что то или другое переживание, те или другие мысли указывают на твою близость к Богу. Есть довольно много примеров из жизни святых, когда человек прельщался и шел не по тому пути, и именно потому, что он пошел не по тому пути, он постигал какую-то линию вещей и увлекался. В житии одного из киево-печерских подвижников есть рассказ о том, как он возгордился, отказался остаться в общежитии, ушел самовольно в затвор и соблазнился: под действием злого духа он стал понимать и излагать потрясающим для других образом Ветхий Завет и совершенно забыл все, что относится к Новому Завету<sup>54</sup>.

Так что можно в этом смысле заблудиться. И сказать: «Не может быть, чтобы не Бог его учил, — смотрите, как он глубоко понимает эти истины» — это не критерий. Критерием в области душевной, пожалуй, всегда может служить смирение. Оно не бывает от темных сил. И помимо чисто душевной стороны отцы Церкви, особенно на Афоне в XI—XIV веках, развили целую систему критериев физических; все, что мы читаем в связи с Иисусовой молитвой о центре внимания и так далее, — это критериология телесная.

*Значит, и вся физиология, в том числе вегетативная нервная система, участвуют в молитвенном делании?*

В какой-то мере может помогать вегетативная нервная система. Опять-таки, как все тварное, она не может создавать нетварное. Если духовная жизнь — это встреча с Богом, жизнь с Ним, то она может создать благоприятные условия для встречи, но не саму встречу. Скажем (я вам сравнение даю, потому что мыслю больше сравнениями), если вы хотите слышать, что человек говорит, вам надо самому молчать, но от собственного молчания вы ничего не услышите, если он не заговорит. И в этом смысле наш душевный строй может помочь в духовной жизни, но не может ее создать, так же как и физическое

состояние успокоенности, стройности подготавливает почву для молитвы, но не есть сама молитва. Феофан Затворник в одном из своих писем говорит, что надо быть как хорошо натянутая струна на музыкальном инструменте. Если ты недостаточно натянут и по тебе царапают — никакого чистого звука ты не издашь, если ты перетянут и по тебе ногтем заденут — струна лопнет. А где-то есть равновесие, которое дает чистую, верную ноту. В этом же отрывке он говорит о том, как надо учиться стоять, двигаться: нельзя ни разваливаться, ни быть в состоянии напряжения, надо найти какое-то среднее состояние. Но это не дает молитву, так же как правильно натянутая струна сама никакой мелодии не издает, надо, чтобы кто-то на ней играл.

*Как можно с духовной точки зрения ответить на вопросы: что считать психической нормой и что такое психическая патология?*

Я одно время пробовал что-то понять в юродивых и читал жития и имеющуюся на этот счет литературу, и у меня сложилось впечатление, что есть два типа юродивых. Одни не представляют никакой проблемы с нашей точки зрения: это люди ясного, сильного, мощного ума, которые просто выбрали путь поддельного, подложного безумия. Они прикидывались безумными, но оставались людьми большого, глубокого и трезвого ума. Но есть другая категория людей, чем-то ненормальных, которые в православной традиции юродства нашли свой путь святости. Между прочим, это одна из вещей, очень поражающих меня в нашей Церкви: в ней больше всего юродивых, очень мало их вне Русской Церкви. И мне кажется, что Русская Церковь сумела найти какой-то путь, позволяющий даже человеку психически неуравновешенному все-таки развиваться духовно и достичь до какой-то меры святости.

Настоящих критериев нормальности нет, наиболее достоверный — это приспособленность, но приспособленность — понятие очень сложное, потому что можно приспособленность видеть в том, что ты — такой точно, как все, но можно видеть ее и в обратном, то есть в том, что у тебя достаточно личного, объективного суждения, чтобы противостоять всем — но с какой-то закономерностью: не просто лягаться вправо и влево, а произносить суждение и действовать соответственно. Между этими двумя крайностями есть масса оттенков, но так или иначе нормальность всегда определяется той или иной формой приспособленности, и это очень относительное определение, потому что оно чисто практическое. Например, на основании такого определения можно сказать, что целый ряд великих людей и святых были ненормальны; в конечном же итоге они-то и были нормальны, а мы — нет.

Но когда мы можем рассматривать человека как достаточно нормального, встает вопрос о его ответственности, об ответственности за его поступки по отношению к людям, по отношению к Богу. И вот тут, мне кажется, не надо забывать, что ответственность человека неотделима (если можно так выразиться, потому что это скользко) от Божией ответственности. Я сейчас объясню, что я хочу сказать.

Мы живем в определенных жизненных условиях, мы сотворены Богом определенным образом, духовно-телесными существами, и в этих пределах мы ответственны за то, что делаем, но можно поставить вопрос о том, каким образом Бог берет на Себя ответственность за первичный Свой акт, который нас ставит в эту обстановку. И я думаю, что мы имеем право этот вопрос ставить, потому что Бог на него дает ответ. Бог нас вызывает к бытию, не спрашивая, хотим мы быть или нет, но Он воплощается, Сам делается человеком и разделяет с нами всю человеческую судьбу, не только ту, которую Он для нас задумал, а ту также, которую мы создали падением и всеми его последствиями.

Но если остановиться на человеке: где предел нашей свободы и что такое наша свобода? Если думать, что, не будучи ничем обусловленными, мы можем делать все, что захотим, — совершенно ясно, что у нас этой свободы нет. Мы не можем летать, мы не можем делать массу других, гораздо более простых вещей. Но где границы этой свободы? Первая граница в начале. Бог нас сотворил, не спрашивая, и каждый из нас появляется на свет, не будучи спрошен. Тут никакой свободы нет, есть данность, и мы знаем, что в конце времен будет какой-то итог жизни всей твари. Мы все станем перед Богом, и Бог произнесет какое-то суждение или, если предпочитаете, суд над нами. В интервале же между этими двумя моментами — в какой мере мы свободны или определены? В значительной мере определены — мы определены тем, что созданы человеками, людьми: у нас кровь, плоть, ум, у нас сердце; мы определены обстановкой, в которой рождаемся, влияниями, которые на нас действуют. Значит, нельзя просто сказать, что мы свободны в том смысле, в котором Бог свободен.

Если можно употребить здесь образ, у меня впечатление, что мы ужасно похожи на жука, которого посадили в стакан. Когда он старается пробиться через дно — ему пути нет, старается пробиться через стенки — тоже никуда. Одна только возможность: вылететь из стакана. У нас та же самая возможность. У нас нет возможности пробиться по ту сторону Божиего творческого слова, у нас нет возможности пробиться по другую сторону и, как Иван Карамзев того хотел, «отдать свой билет Богу»<sup>55</sup>, у нас нет возможности вырваться из тех биологических или душевных условий, которые составляют нашу человечность, но есть одна возможность: вырасти в меру Богочеловека.

*Является ли шизофрения духовной болезнью, порабощением человека темными силами? Может ли она быть следствием духовных преступлений предков? Какие меры для компенсации болезни и реабилитации больного вы бы посоветовали как священник и врач?*

Конечно, может случиться, что постепенное разрушение человеческой души, душевности у наших близких или дальних предков может нам передаваться наследственно и вдруг разразиться болезнью. Но я хочу сказать с совершенной убежденностью: никакую болезнь нельзя приписывать *просто* греховности, своей или своих предков. Разумеется, все неладное, что совершается на земле, происходит от того, что человек первично, в лице Адама и Евы, отпал от единства с Богом. Но говорить о том, что шизофрения, рак или какая-либо другая болезнь непременно связаны с греховностью, нельзя. Бывает — и не так редко, — что Господь дает человеку болезнь как путь ко спасению.

Мне вспоминается рассказ о том, как одного святого просили молиться об исцелении одного человека. Он помолился несколько дней, а потом пришел и сказал: «Господь мне открыл, что я мог бы его исцелить, но Он мне открыл также, что болезнь дана во спасение и его, и других людей вокруг него». И в житиях святых мы находим целый ряд случаев, когда сами святые или просто верующие болели долгое время, не потому, что они были грешники, а потому, что это было путем спасения — не только личного, но и спасения людей вокруг. Я помню случай, когда один крестьянин XIX века десятки лет лежал парализованный в деревне, у себя в хате — и был вдохновением и путем ко спасению целого ряда людей, потому что то, как он воспринимал свою болезнь, как он терпел страдания, с каким светлым, ликующим выражением лица он встречал всякого человека, было вдохновением для всех, кто только соприкасался с ним.

Из сказанного не заключайте, будто я не верю в темную силу и в возможность, которую имеет эта темная сила на нас влиять в нашем физическом или психическом состоянии. Однако если обратиться к Евангелию, мы увидим, что в некоторых случаях Христос изгонял беса, находящегося в человеке, но во множестве чудес, которые Он совершал над

больными, Он не предполагал никакого бесовского вмешательства. Он исцелял слепого, исцелял хромого, исцелял целый ряд людей, о которых ни слова не сказано, будто они особенно греховны. Поэтому, даже допуская, что на нас может быть бесовское влияние, что возможно порабощение наше бесом, мы не должны приписывать всякую болезнь собственной греховности или бесовскому вмешательству. Самый явный пример того, что я говорю, это случай слепорожденного, о котором Христос сказал, что ни он не согрешил, ни родители его, но что болезнь ему дана для того, чтобы просияла слава Божия (Ин 9:2—3).

Второе: Иоанн Кронштадтский писал в своем дневнике, что есть души настолько хрупкие, что они не могли бы осуществить себя в столкновениях с окружающим жестоким и разрушающим миром; и порой Бог набрасывает пелену, которая разделяет человеческую душу от мира помрачением ума, безумием так, что человек отделен. (Цитата не точна: я слишком давно читал этот отрывок и не помню его слов, но такова основная мысль.) И за этой пеленой душа зреет и меняется, и человек растет. Это место мне особенно запомнилось, потому что я это видел на самом деле.

Много лет тому назад, когда я еще был врачом во Франции, был в нашей среде выдающийся иконописец, и он начал сходить с ума. Его окружение, мать и сестра, поступили так, как многие поступают. Они не хотели его как бы «возбуждать», и когда он говорил, что чувствует запах серы или слышит какие-нибудь голоса, они делали вид, что прислушиваются, и говорили: «Да, да, на самом деле» — тогда как ничего, конечно, не воспринимали, потому что ничего и не было. Болезнь его стала ухудшаться, и ко мне обратился с вопросом (как я сказал, я был врачом, и меня спрашивали как такового): «Вот, мы его кропили святой водой, он исповедовался, мы служили молебны, мы совершали помазание над ним, его причащали, и ничего не случилось. Он все продолжает болеть. Что делать?» Я тогда посоветовал просто послать его в больницу на электротерапию. И я помню, с каким возмущением мне ответили: «Ты что, неверующий? Ты считаешь, что силой молитвы нельзя сделать то, что может сделать электрический шок? А что если в нем действует дьявол?» Я тогда ответил — чистосердечно, но и вызывающе: «Знаете, если в нем действует дьявол, электрошок дьяволу никакого вреда не принесет, а Г. может спасти...» Это было встречено с большим негодованием, но его все-таки пришлось отдать в больницу. Я тогда там работал и его видел каждый Божий день. Он около года провел в больнице, он кощунствовал, бился, был совершенно невменяем, нельзя было войти с ним ни в какой контакт. А потом вдруг он пришел в себя. И когда он вышел из больницы, исцеленный благодаря медицинской помощи, оказалось, что с ним случилось то, о чем говорил Иоанн Кронштадтский: еще неопытный, еще не вполне созревший, хотя очень одаренный, художник вышел из больницы зрелым иконописцем, каким не был раньше.

Это ответ на вопрос о том, может ли медицина что-то сделать в отношении шизофрении. Если бы речь шла о грехе, о «возмездии» со стороны Бога, то никакие электрошоки не могли бы помочь. Нет, это была физическая болезнь, и мы не можем говорить о том, что всякая болезнь происходит от греха.

*Есть ли у вас какое-нибудь мнение о причине гомосексуализма? Есть ли у вас опыт помощи и реабилитации? Встречались ли вам случаи исцеления, чтобы пол и сознание совпали?*

Гомосексуализм многими описывается как болезнь и потому представляется явлением неизбежным. Должен сказать, что я с этим не могу согласиться. Гомосексуализм — ненормальность, то есть это, конечно, болезненное состояние. Оно может стать грехом,



если делается уже деятельностью по отношению к другим мужчинам и активным отвращением к женщинам, но, насколько мне известно, физического, физиологического основания у гомосексуализма нет. В одной из психиатрических клиник Лондона было сделано очень вдумчивое исследование этого вопроса, и заключение было таково: гомосексуализм является либо психическим расстройством — я к этому вернусь через мгновение, — либо греховностью в смысле разврата.

Как психологическая расстроенность он может объясняться различно. Есть причины, о которых у нас еще нет ясного представления. Но часто бывает, что человек делается тем, что на русском языке называют мужеложником, потому что в течение всего своего детства он был под гнетом или любовной заботой матери или какой-нибудь женщины, которая заменяла ему в жизни мать, и в результате у него получился страх, отвращение, ужас ко всему женскому.

Началось это тогда, когда он не мог еще думать ни о том, что он под гнетом, ни о том, что не все женщины — по образцу гнетущей его. Но это уже вкрапливается в его психику, в его сознание, так что он не может от этого отделаться. У него рождаются страх, и отвращение, и отчуждение от всего женского, от всякой женщины. И так как в нем есть естественное половое побуждение, то он его обращает к себе подобным. С этим он может бороться либо может поддаться. Если он поддается этому влечению, с точки зрения Церкви он согрешает. Об этом ясно говорит и апостол Павел (напр., 1 Кор 6:9), и церковные каноны, это несовместимо с тем, чтобы себя называть христианином. Речь не идет, конечно, о том, что в человеке могут быть те или другие побуждения, если он с ними борется. Тогда это делается такой же проблемой, какая бывает у любого человека, мужчины или женщины, у кого есть сильное влечение к другому полу, но который на основании своей веры или просто по внутреннему сознанию своего достоинства и чистоты этому влечению не поддается. Если человек поддается такому влечению по отношению к людям иного пола, мужчины по отношению к женщинам и наоборот, то он осуждается не за влечение, а за действие; грех делается грехом не когда в тебе есть побуждение и ты с ним борешься, а тогда, когда ты ему поддаешься.

В этом отношении в житиях святых у нас есть замечательный пример разницы между Божиим судом над побуждением и над действием. Был священник, монах; каждый раз, когда он крестил женщину, в нем поднималась целая буря. Он стал молиться своему святому, Иоанну Крестителю, чтобы тот его освободил от этой греховной бури. И святой Иоанн Креститель ему явился и сказал: «Я могу умолить Бога, чтобы Он тебя освободил от этого, но тогда ты потеряешь венец мученичества. Продолжай бороться с этим влечением, никогда не поддавайся. Пока ты не поддашься, это в тебе борьба со злом во имя Христа. Если я тебя освобожу, ты уже не будешь борцом за Христа». По отношению к мужеложеству мы должны принять такое положение: это или психическая ненормальность, или греховность, сознательно принятая, разврат. И в том, и в другом случае, если это влечение становится действием, то подлежит церковному наказанию и отлучению. Было время, когда борьба с этими побуждениями была облегчена тем, что эти побуждения были окружены неодобрением общества и запретом со стороны законов не только церковных, но и гражданских. Теперь же, когда гражданские законы не восстают против мужеложества, гомосексуализма, каждый человек должен взять на себя полную ответственность за свое отношение к этим фактам и, если нужно, восстать против мнения других людей. Но это требование встает не только по отношению к мужеложеству, оно встает по отношению к целому ряду вопросов, перед которыми стоит христианин в нехристианском обществе или в гниющем христианском обществе, что тоже надо принять в учет.

И конечно, я должен прибавить к уже сказанному, что особенную греховность, особенное уродство надо усматривать в людях, соблазняющих не только своих ровесников, которые могут им ответить отпором, иногда даже физическим отпором, но и детей, которые не знают, что от них ожидают, и могут быть вовлечены в эту стихию мрака и зла, воображая, что их ведут взрослые люди, знающие, как надо жить, — тогда как те не только не знают, как надо жить им, но еще совращают и других.

*Как помочь молодежи и предостеречь ее от наркотиков?*

Если кратко коснуться этой громадной темы, можно провести следующую параллель. Если рассматривать параллельно мистический опыт и наркоманию, мы видим, что мистическое переживание дается от Бога даром в тот момент, когда Он Сам решит, и тому, кому Он Сам решит его дать, тогда, когда считает человека зрелым и способным воспринять этот опыт. Попытка добиться переживания через наркотик — волевой акт с целью добиться искусственно переживания, тогда как его можно добиться или приобрести только в плане естественного внутреннего возрастания. Второе: переживание, которое дает наркотик, длится столько, сколько действует наркотик, оно угасает вместе с ним и оставляет неуловимое воспоминание, мистический же опыт, который длится столько, сколько пожелает Бог держать нас в состоянии погружения в какие-то глубины или наоборот, как бы «экстаза», прекращается и оставляет не воспоминание, а неизгладимый след: тот, кто пережил мистический опыт, выходит из него новым человеком. Перечитайте любое описание такого опыта в Священном Писании, например пророка Иеремии (Иер 1:4—19). В результате наркотического опыта остается желание искусственно повторять этот опыт, потому что он потерян безвозвратно, мистический опыт не создает привыкания и не вызывает потребности его повторять, он есть начало, которое может вылиться в подвижническую жизнь, молитвенную жизнь, в апостольское служение, в углубленную внутреннюю жизнь, и в конечном итоге он всегда направляет того, кто пережил его, к «другому» — к ближнему, и неважно, кто этот ближний — Бог или у него есть человеческое имя. Наркотическое переживание приводит жертву лишь к себе самой, снова и снова возвращает ее к опыту, который ограничен ею самой, из которого исключен другой, потому что окружающий мир становится все более нереальным и далеким, становится помехой и является самое большее почвой для видений, но не имеет собственной ценности, не имеет ценности вне того человека, который стал жертвой наркотика.

Я должен прибавить, что нам следует быть внимательными к тому, что мы говорим, потому что не так уж редко ложная мистика тоже является своего рода наркотиком, опьянением. Есть в христианском мире люди, «мистическая жизнь» которых выражается в одурманенности музыкой, церковной обрядовостью или другими внешними проявлениями, и в таком случае у нее все признаки токсикомании: у нее те же самые внешние выражения, она длится столько же, сколько продолжается внешнее действие, она не приносит никаких плодов, оставляет после себя воспоминание и голод, жажду, потребность, она никак не меняет природу человека, он только все жаднее ждет религиозного переживания и становится все более эгоцентричным, вместо того чтобы открыться другому. Идет ли речь о наркотике или о религиозной интоксикации, когда Бог и религия — только поводы замкнуться на себе, питаться только собой, заниматься «самоедством», все это глубоко разнится от мистического опыта в том виде, каким мы его видим у подлинных мистиков.

*Насколько можно ждать от человека, что он изменится, если по-настоящему воспримет христианство? Что в его характере, природных свойствах может переделаться и что останется навсегда?*

Я думаю, что человек может стать лучше, но каждый по-разному. Кажется, Амвросий Оптинский говорил, что суровый человек и святым будет суровым, а мягкий человек будет мягким святым. Но суровость без любви — одно, а суровость с любовью — другое, то есть суровость при глубокой любви может превратиться в очень большую строгость к себе, в стройность жизни или хотя бы перестанет быть мучением для других. Судя по тому, что мне приходилось читать, я не думаю, что человек просто делается иным в том смысле, что его природные свойства или дарования меняются на обратные, но все же они меняются. Скажем, мягкость может быть слабостью или состраданием, сочувствием, лаской; и вот — слабость должна уйти, а ласка, сострадание должны ее заменить. Наши свойства сами по себе большей частью нейтральны и поляризуются в зависимости от того, в какую сторону мы смотрим, каков наш идеал, какова наша направленность.

*Может ли пастырь предъявлять требования (и какие именно) слегка ненормальному человеку?*

Есть категория людей, которые достаточно нормальны, чтобы вести приблизительно нормальную жизнь, но не вполне нормальны в обычном смысле слова. Я думаю, что, говоря схематично, можно разделить эти состояния на два типа. Те, в которых есть наигранность, ложь, неправда, являются определенной помехой. Другие являются, так сказать, «структурным» недостатком: глупый человек, или нечуткий, или человек с изъяном, у которого чего-то не хватает — как на инструменте может быть три струны вместо пяти, но эти три есть и не испорчены всем остальным.

У меня сейчас в мысли конкретный человек, моя прихожанка: она определенно «с трещиной», но помимо «трещины» она обнаружила, что делается страшно интересной для других (во всяком случае, вначале), когда проявляет свою какую-то тронутость. Она ее проявляла по малости, и люди как-то переживали: «Ах, бедная В.!» Потом она стала ее проявлять так живописно, что это стало невыносимо, до дня, когда мне все сказали: «Она совершенно сошла с ума!» Я решил: я тебе покажу «сошла с ума» — и взял ее в оборот: перья полетели! Я ее потряс, говорю: «Вот что, В., я вам скажу: вы или комедиантка, или хулиганка, или сумасшедшая. Если вы сумасшедшая, в следующий раз, когда вы выкинете что-нибудь, я вызову санитарную карету, а если вы хулиганка или комедиантка, мы вызовем полицию, так вот, вы мне скажите: кого вызывать? Я буду знать». После чего она перестала быть сумасшедшей. Казалось, это непреодолимо, она ничего не может поделывать — а вот, оказалось, может. Потому что кроме того, что у нее действительно есть где-то «трещина» (что не удивительно: у нее прошлое такое жуткое, трудное), она еще ее эксплуатировала, пускала в ход, потому что с этого можно было барыш получить, интересность — до момента, когда она обнаружила, что «быть интересной» может кончиться плохо. Тогда вдруг все сошло. Иногда она снова делается «интересной», но теперь ее гораздо проще утихомирить. Так вот: в ней есть нечто непоправимое, с чем надо считаться, причем с большим чувством сострадания и притяжения, и есть надстройка, с которой нельзя считаться и которую надо вышибать.

В истерии есть момент комедиантства, лжи, игры. Такого рода психические настроения, конечно, губительны для духовной жизни, потому что правды очень мало остается: человек так запутывается в собственной комедии, что трудно добиться, чтобы он правдиво перед Богом стоял. Если он и исповедоваться придет, он, может, даже скажет всю правду, но сам по отношению к этой правде станет как бы любоваться: насколько драматично он описывает, какая он дрянь, — и это уже не исповедь, это бесполезно, человек не может каяться, когда, исповедуясь, он смотрит краешком глаза и думает: «Какое впечатление я произвожу? Неужели он не сражен тем ужасом, который я описываю?» И отвечаешь такому человеку, как случилось мне раз: человек описывал,

описывал, описывал, наконец остановился, изумленный моим безразличием, и сказал: «Как вы все это расцениваете?» — ожидая драматичности, а я ответил: «Это у вас расстроенная печень».

*Как вы относитесь к современной практике психотерапии?*

На Западе очень распространена психотерапия, к ней прибегают там, где, мне кажется, можно было бы и не прибегать к ней. Есть, конечно, положения, моменты, когда человек душевно болен, и тогда к нему надо применять или лекарственное лечение, или психоанализ. Но очень часто люди прибегают к психотерапии вместо того, чтобы обратиться к священнику, — или потому что они неверующие, или потому что священник не подготовлен и не способен разбираться в проблемах их души, или потому что они хотят переложить ответственность за свою внутреннюю борьбу на другого человека и как бы освободиться от нее, хотят быть освобожденными от проблемы без того, чтобы взять за нее полную ответственность и подвижнически бороться. С этим для человека верующего связан вопрос о том, какая связь может быть между исповедью и покаянной жизнью, с одной стороны, и психотерапией, в частности психоанализом, — с другой стороны.

Мне кажется, тут надо рассматривать вещи совершенно различно. Психоанализ может человеку помочь разобраться в себе самом, может помочь ему заглянуть в тайники своей души, но психоанализ не обязательно приведет к покаянию. Риск психоанализа в том, что человек, разобравшись в своей греховности, увидев себя, какой он есть более или менее (во всяком случае, более совершенно, чем без психоанализа), считает, что теперь ему надо лечиться, но не каяться, что это все душевная болезнь, неустройство психическое, но не нравственное, не духовное. С другой стороны, если человек верующий, который не может найти в себе корень зла, начинает лечиться у психиатра и перед ним раскрывает мрачные глубины своей души, он может их осознать не только как душевное расстройство, у которого всегда есть какие-нибудь причины, но и как расстройство, за которое он в значительной мере ответствен. В таком случае он может после этого обратиться к священнику, к духовному наставнику уже на новых началах. То, чего он раньше не понимал, он теперь понимает и может обратиться к Богу с покаянием.

И это в какой-то мере случается совершенно естественно в некоторых обстоятельствах. Бывает, старик, старушка жалуются на то, что ночью дурные сны, воспоминания не дают им спокойно спать. Я помню одну такую старушку, которая пришла ко мне и говорила, что всю ночь ей вспоминаются какие-то моменты ее жизни и всегда — дурные, темные, горькие моменты, что она не может из-за этого спать. Она обращалась к врачу, который ей дал какие-то снотворные пилюли, и все равно ничего не получается, потому что то, что было воспоминанием, делается теперь кошмаром. Я ей сказал: знаете что, вам, как всем стареющим людям, дано заново пережить свою жизнь, но пережить ее на новых началах. Когда вы были молоды, вы принимали решения, совершали поступки, которые были как бы соизмеримы всей житейской неопытности. Теперь вы набрались большего житейского опыта, и Бог вас ставит перед лицом всех тех греховных ошибок, дурных поступков, ложных пожеланий, которые были в вашей жизни. Вопрос, который вам ставит Господь, как бы воскрешая прошлое, настойчиво возвращая вас к нему, вот в чем заключается: теперь, с твоим опытом, какая ты теперь стала, если тебя поставить в ту же обстановку после стольких лет, как бы ты решила этот вопрос? Что бы ты сказала? И если ты можешь сказать: никогда я этого слова не произнесла бы, никогда так не поступила бы — знай, что тот человек, которым ты была в молодости, умер, и что теперь ты свободна от своего прошлого хотя бы в этом отношении. И ты увидишь: если ты о чем-нибудь можешь до конца сказать, что теперь это для тебя стало абсолютной невозможностью, оно не будет к

тебе возвращаться ни в твоих снах, ни наяву. Если же ты не можешь так сказать, знай, что это не твое прошлое — это еще твое греховное настоящее, неизжитая греховная неправда.

И это то же самое, что совершается в психоанализе, только тут это воспоминание всплывает естественно, а там врач тебе помогает постепенно к нему вернуться. Но последний шаг для верующего — это покаяние: покаяние перед Богом в одиночку и покаяние на исповеди.

*Хотелось бы знать ваше отношение к иглорефлексотерапии, поскольку от имени православия высказываются различные точки зрения по этому поводу.*

Я могу сказать с совершенной убежденностью, что здесь нет никакой доли «кудесничества» или обмана. Это настоящая медицинская помощь. Я ее испытал на себе и могу только сказать, что верю безусловно и в добротность этой работы, и в добрые результаты.

*Может ли верующий человек обращаться за помощью к врачу, лечащему методом гипноза, и, наоборот, имеет ли право верующий врач лечить этим методом?*

Я думаю, что да. В романтической литературе XVIII—XIX веков, начиная с Месмера, сложилась картина чуть ли не чертовщины, будто можно настолько овладеть человеком, что он станет рабом твоей воли. Насколько мне известно, это не так. Гипноз не от светлых и не от темных сил, это просто употребление, применение природных дарований. Любой человек, любой врач может научиться лечить гипнозом, это не требует темных глаз и драматического лица. Это — техника. Вы можете с голубыми глазами и с самым обыкновенным лицом быть в состоянии гипнотизировать человека. Насколько я знаю, это не оставляет отпечатка на душе. Опять-таки, это отчасти зависит от того, что представляет собой врач. Ведь и врач, который лечит лекарствами, тоже может навредить пациенту, сделав его наркоманом или чем-нибудь в этом роде.

*Можно ли лечить на расстоянии? Если на расстоянии стараешься только молитвой воздействовать, это не удастся, но когда молитва сочетается с определенной мысленной активностью, тогда это помогает...*

Из опыта кружков людей, которые собираются для молитвы о больных, явно: что-то случается. В Англии существуют такие кружки (не знаю, где еще, я сейчас говорю о том, что знаю достоверно). Есть целые общества — имени апостола Луки, имени архангела Рафаила<sup>56</sup>: люди, которые отдают себя отчасти — то есть оставаясь в своих профессиях чем угодно — заботе о больных, но не в виде санитаров или санитарок. Они собираются еженедельно, и каждый из них приносит хоть одно имя: вот такой-то человек страдает такой-то болезнью или находится в таком-то состоянии... И вся группа, когда они осознали, что с этим человеком делается, погружается в молитвенное размышление. Это не то что молебен: «Господи, сделай то-то». Они активно именно вбирают этого человека в сознание, держат его в этом сознании с любовью, с благожеланием, вместе с Богом, и я видел случаи, когда что-то случалось, это помогало.

*Можно ли смотреть сеансы лечения целителей? Они говорят о добре и делают его реальным. Трудно безнадежно больному отказаться от надежды...*

Я не видел этих сеансов и не возьмусь давать определенный ответ, могу только сказать вот что. Владыка Сергей Одесский говорил с одним из подобных целителей и спросил его: «А вы крещены?» А тот ему ответил: «О нет! Я не захотел креститься, потому что

уверен, что, если крещусь, я потеряю свой дар». Для меня это довольно-таки значительный ответ.

Помню, в Англии была знаменитая целительница, которую я хорошо знал, ее все очень уважали, а на меня она производила впечатление хищного зверя. Когда моя мать умирала от рака, та написала письмо, предлагая свою помощь, говоря, что она молилась и ей было открыто, что она может мою мать вылечить. И моя мать ответила: «Я предпочитаю чисто умереть, чем грязно исцелиться».

*Имеет ли это какое-то отношение к целителям-экстрасенсам или людям, которые лечат какими-то биотоками?*

Я думаю, как только мы ярлыки наклеиваем, мы создаем проблемы. Мне кажется, что естественно ощущать друг друга на расстоянии, просто нормально. Скажем, когда с кем-нибудь, кого вы любите, стряслось нечто тяжелое душевно, так часто «сердце сердцу весть подает». Я не вижу никакого основания, чтобы этого не было, и если это естественное свойство, а не какое-то чудо, то почему нельзя воспитать в себе эту чуткость? Мне кажется, первое, что надо делать, чтобы эту чуткость воспитать, это обращать внимание, когда это случается, а не отстранять, не говорить: «Ах, не может быть!» Наоборот: я ощутил тревогу о каком-то человеке, я на этом остановлюсь, буду об этом человеке думать, молиться, переживать — кто как умеет, и никогда не пропускать эти моменты, иначе эта чуткость притупляется, как притупляется любая наша способность, которую мы не употребляем. Конечно, люди бывают разное одаренные, но в какой-то мере каждый, кто связан с другими сердечным образом, а не только внешне, может это ощущать. У меня нет особого дара на такие вещи, но я почти всегда знаю за два дня, что идет письмо от такого-то человека, и просто жду его, или знаю: что-то с таким-то случилось.

А иногда бывает какое-то общее чувство тревоги: до тебя дошло что-то, как будто крик раздался, и ты услышал крик, но не узнаешь голоса, об этом со мной однажды говорил отец Софроний. Тогда, советовал он, ищи ощупью, молись о каждом человеке, кого знаешь, ставь вопрос: ты или не ты? ты или не ты? — и в тот момент, когда окажется: «ты» — совершенно ясно делается: да, я уже не в тумане, я коснулся реальности...

*Существуют люди, которые очень успешно лечат болезни разными молитвами. Как к этому относиться? Молитвы вполне христианские, никаких искажений нет...*

Добрые намерения, какое-то дарование от Бога, добрая воля, не колдовство на зло, а молитва, которая обращена к Богу разумным образом, — почему нет? В конце концов, обращаются к священнику для совершения помазания елеем в случае болезни. Священник действует как тайносовершитель, но сила Божия не ограничивается таинствами. Как Владимир Николаевич Ильин раз сказал: всякое чудо — это нерегулярное таинство, то есть если понимать таинство как непосредственное воздействие Божие, то чудо есть непредвиденная форма такого воздействия, и почему бабуся не может этого сделать, а должен непременно какой-то «патентованный» человек это делать?

*У нас замечается нездоровое увлечение колдовством, поэтому поневоле встает вопрос: насколько все это чисто. Некоторые экстрасенсы считают себя христианами, но есть мнение, что они лечат естественные болезни какими-то потусторонними силами...*

Мне думается, нет однозначного ответа, прописи тут не дашь. Есть люди, у которых чисто природные дарования более выраженные, чем у других. Очень обычное явление — люди,

которые могут успокоить человека, держа его за руку, или которые, наоборот, могут его как-то взвинтить, потому что из них так и течет нервность. Это самая обыкновенная, незатейливая вещь. Есть люди, у которых подобные дарования, чисто психофизические, более ярко выражены и которые в этом отношении могут помогать или вредить.

У меня был знакомый англиканский священник, который интересовался и работал над «чертовщиной», скажем, и такими вещами, и у него был какой-то дар облегчать страдания, боль. В какой-то период, когда у меня спина была очень плоха, он мне сказал: «А почему мне не попробовать вам помочь?» Он меня положил, сам он длиннющий, на голову положил одну руку, на ноги другую — такой охват, сосредоточился, и у меня все прошло на время. Через некоторое время он ко мне снова пришел. За это время я ставил себе именно этот вопрос: какая в этом доля добра или среднего, скажем, не черного, а серого, и когда он второй раз мне предложил, я сказал «да» и молился во время его действия — и ничего не получилось. Вероятно, или я перестал быть восприимчив, потому что отключился от того, что он делал, мы просто не встретились, или это было что-то сложное — просто не знаю, знаю только, что ничего не случилось.

Есть люди, у которых к этому примешивается в плане человеческом или даже в плане темной силы что-то дурное. Они обладают каким-то даром исцеления — но я предпочел бы болеть и умереть, скорее чем от них получить помощь, потому что они мне кажутся нравственно жуткими, и мне не хотелось бы получить помощь от человека, которого я расцениваю как злое присутствие. Помню, когда я был врачом, ко мне послали одного человека, целителя: он вам будет помогать, он будет исцелять тех, кого вы не можете вылечить, — что, конечно, было бы страшно удобно и приятно. Я ему сказал: «А вы мне сначала докажите, что у вас какая-то сила есть». Он сказал: «Вот, смотрите». Он протянул руку на меня, и меня просто обожгло жаром. Потом протянул снова, и меня прямо морозом обдало. Значит, что-то у него было. Но когда я с ним поговорил, он оказался таким прохвостом, что я решил: лучше моим пациентам страдать от меня, чем лечиться у него. Я хоть честно могу пациента отправить от себя, сказать: ничего не понимаю, ищи другого. А этот был бесчестный человек. И у меня было чувство, что у него дар-то, вероятно, природный, но использование его из-за его жадности к деньгам — уже совсем другого порядка.

Ясно, что у святых эта способность тоже коренится в другом, но мне кажется, что самый дар в значительной мере природный. Я не говорю, что чудеса являются природными действиями, но Феофан Затворник в одной из своих книг пишет, что мы недооцениваем свои природные возможности. Когда, скажем, мы молимся и ощущаем в своем теле те или другие явления, мы склонны сразу их приписывать благодати. И Феофан говорит: нет, это не благодатное явление, а просто чисто природное. Я думаю, что есть средняя полоса. У всякого человека есть дарования, которые могут развиваться далеко за пределы обычного, но эти дарования будут окрашиваться от того, какой это человек, кто он по отношению к Богу, к темным силам...

Могу признаться, что, когда я был на первом курсе медицинского, у меня начали проявляться способности читать мысли людей на расстоянии, передавать им на расстоянии свои мысли, и я задумался над этим. Это было в летнем детском лагере; помню, я ходил по лужайке, вдруг остановился и сказал: «Господи, если этот дар от Тебя, пусть он со мною останется, если он от злой силы или просто естественный, но может меня повлечь в гордыню и в разрушение — сними!» И он был снят мгновенно, и никогда больше в такой форме я этого не переживал.

Это меня заставило быть вдумчивым и осторожным в этом отношении, потому что мы ищем — в духовном руководстве, или в проповеди, или просто в общении с людьми, чтобы Господь через нас совершил какое-то дело, сказал слово, совершил действие во спасение. Но основывать действие или слово во спасение на естественной почве нельзя, мы ищем другого, наша борьба не с плотью и кровью, а с силами тьмы поднебесной; и никакие естественные дарования не защищены от проникновения и воздействия подобной силы. Поэтому я бы сказал: лучше не надо этим пользоваться, если у вас нет основания думать, что это не естественное дарование в человеке, а плод святой жизни. Я не говорю о Серафиме Саровском, о тех людях, которые были боговидцы и говорили словом Духа Святого, а о той смежной почве, где — да, можно прислушаться, но с осторожностью, не боязливо, не трусливо, но трезво, молитвенно и осторожно к этому относиться.

*Владыка, вы по образованию врач. Продолжаете ли вы сейчас врачебную деятельность?*

Нет, я давно бросил. Я пробовал с полгода быть врачом и священником одновременно, и ничего не получилось: это несовместимо просто по времени. У меня была полная практика, которая занимала весь день, и затем, став вторым священником на приходе, я должен был быть свободным отзываться на нужды прихожан, когда они появляются. И у меня хронически было такое положение: я сейчас должен служить в церкви, у меня десять больных, которых надо посетить: значит, я перед ними виноват, если к ним не иду, но люди стоят у двери церкви и тоже имеют какие-то права, а меня нет... И я все время был виноватым, и в конце концов скучно делается быть всегда виноватым перед всеми: хоть иногда чтобы был проблеск, что ты не виноват! В результате, надо было бы иметь две жизни каждый день. По существу, это было бы замечательное совмещение. Думаю, это возможно, например, как раньше было в Африке или таких неразвитых странах, когда человек мог заниматься тем и другим как бы параллельно, но в парижской обстановке это оказалось для меня лично невозможным.

Кроме того, я не считал справедливым, чтобы, когда человек зовет врача, как бы тайно входил священник; я считал, что справедливо разделить эти две области: неверующий человек имеет право, чтобы пришел только врач, ничто другое. Я хотел сказать, что чувствую: я не имею права прийти к человеку и начинать ему проповедовать веру — он имеет право видеть во мне врача без того, чтобы я на него наседаю: «Ах, ты в постели, у тебя сломанная нога, ты от меня не уйдешь, давай-ка я тебе попроповедую»... У нас был один такой хирург в Париже, который этим злоупотреблял: как попадет к нему пациент, лежит в постели, удрать не может — он на него со своей верой. И, по-моему, он никого не обращал, потому что люди бывали возмущены тем, что он пользуется случаем, нарушает их свободу совести.

Для верующего все равно, что ты врач, а неверующему хочется иметь только врачебные отношения, это могло создать трудности. Это не создавало еще трудностей, потому что я слишком недолго был известен как священник, но могло бы создать. Но главное, что просто все время без остатка уходило на медицинскую работу, от семи утра до полуночи: куда же деть тогда остальное?

*Врач, будь он человек верующий или неверующий, должен лечить только тело, не касаясь человека как личности?*

Нет, я думаю, врач должен относиться ко всему человеку, потому что даже в телесной болезни колоссальную роль играет душевное состояние человека, его решимость жить или его отказ от борьбы, и нет такой области в человеке, которая для врача-соматика безразлична. Конечно, есть области специализированные, скажем, психические болезни



не всякий соматик должен лечить, потому что это требует специализации, но это же относится и к отделам соматических болезней: один занимается нервными болезнями, другой по преимуществу иными. Но мне кажется, что задача врача — проникнуть во всего человека и как бы использовать все его силы для выздоровления — всю его психическую силу возбудить, порой возродить. Просто профессионально неразумно было бы сказать: «Меня интересуют твои мышцы и кости, а что там делается внутри — нет», потому что все больше и больше видно, какую громадную роль в болезни играют душевные состояния.

*У постели умирающего встают вопросы: почему? что делать? Кто-то чувствует себя обузой для родных, с другой стороны, есть молодые (и не только молодые) люди — добровольные помощники, например, в хосписах...*

Мне думается, что болезнь и страдание нам даются от Бога для того, чтобы мы могли освободиться от такой привязанности к жизни, которая нам не дает возможности глядеть в будущее с открытостью, с надеждой. Если бы все было совершенно, то у нас не хватило бы духа отойти от этого совершенства. Но ведь то совершенство, которое у нас есть на земле, так далеко от той полноты, которую мы можем получить в Боге!

И мне кажется, что людям, которые болеют долго, надо помочь в двух вещах. Во-первых, в том, о чем я только что сказал, — помочь осознать: меня Бог сейчас освобождает от плена, дает мне возможность не привязываться к жизни, которая так мучительна, болезненна, дает мне возможность глядеть в другую сторону — в сторону, где больше не будет ни боли, ни страдания, ни страха, где распахнется дверь и я окажусь перед лицом Самого Спасителя Христа, Который Сам через все это прошел. Ведь Христос Своей доброй волей вошел в жизнь, где царствует смерть, и страдание, и потеря Бога, и путем нашей смерти, как бы взяв на Себя всю нашу человеческую природу и смертность, вернулся в область Божественной вечности — это единственный путь, который нас высвобождает от всего того, что нас делает пленниками, рабами.

А второе (и это мне кажется очень важно): когда мы тяжело бодем или идем к смерти, окружающие о нас заботятся, и часто болеющий человек переживает душой о том, что стал *обузой* для других. Вот в этом болеющего надо разубедить. Он не стал обузой. Он дал каким-то людям счастье возможностью проявить свою любовь, свою человечность, быть им спутником через последний период жизни — в вечность. Болящих надо убедить, что, пока они были здоровы, крепки, они заботились о других, помогали им, не обязательно в болезни, просто в жизни; теперь они могут от этих людей получить ту любовь, которую сами посеяли в их душах, и им дать возможность показать свою любовь и свою благодарность. Когда мы отказываемся во время болезни от помощи других, мы их лишаем величайшего счастья — нас *долюбить* до конца. Это не обязательно наши родные, это всякий человек, который отзывается на нас.

Я думаю, что если тот, кто заботится об умирающем, мог бы воспринимать происходящее с ним, просто сидеть рядом и не вносить ничего самому, а только быть самому прозрачным, безмолвным, как можно более глубоким, то, вероятно, он увидел бы, как этот человек сначала слеп к вечности, как бы закрыт от вечности своей плотью, своей телесностью, своей человечностью. Постепенно все это делается более прозрачно, и умирающий начинает видеть другой мир. Сначала, думаю, темный мир, а затем вдруг свет вечности. Я это однажды пережил: меня просили сидеть с одной старушкой, пока она умирает. Было так явственно, что сначала она отчалила от временной, телесной, общественной жизни (она очень была погружена в земную жизнь: ей было 98 лет, и она из глубин своей постели занималась своими коммерческими предприятиями). А потом

постепенно это отошло, и вдруг она увидела темный мир, бесовский мир... И в этот мир вошел свет Божий — и весь этот бесовский мир разлетелся, и она вошла в вечность. Я этого не могу забыть, я тогда был молод, был студентом медицинского факультета первого или второго курса, и это у меня осталось.

Поэтому те молодые люди, которые ухаживают за больными, кроме того, что они дают больному возможность с благодарностью и открытостью принимать любовь, которая им дается — это очень важно, — могут с ними сидеть в момент, когда больной уже не может никаким образом им сказать о том, что он сейчас видит или чувствует, но знать, что сейчас совершается переход, и быть с ним все это время, время перехода.

*Более остро вопрос встает в случае страдания детей...*

Страдание детей нас озадачивает больше, чем страдание взрослых, потому что, когда страдает взрослый человек, легче увидеть ту пользу, которое могло бы принести страдание, при условии, что человек вырастет в полную меру своего призвания. Но может ли страдающий ребенок научиться чему-то подлинно ценному: терпению и смирению, мужеству и выдержке, доверчивой покорности? Мне вспоминается ребенок, о котором говорится в жизнеописании французского святого XIX века. Этот священник спросил мальчика девяти лет, как он может переносить мучительную болезнь, которая в конце концов свела его в могилу. Тот ответил: «Отец, я научился не ощущать сегодня вчерашнего страдания и не предвидеть завтрашнего». На такое способны очень немногие взрослые, ибо страдание — будь то нравственная мука, душевные переживания или физическая боль — обычно становится невыносимым, потому что в каждый момент мы как бы несем и переживаем все уже прошедшие моменты боли и страдания и в каждый миг ожидаем, что так будет вечно, что оно никогда не кончится. И мы не в состоянии противостоять всему прошлому и будущему страданию, хотя в большинстве случаев могли бы противостоять конкретной порции страдания нашего тела или нашей души в данный момент.

Этот пример говорит о ребенке девяти лет. Как же маленькие дети, еще не способные рассуждать таким образом? Может ли страдание что-то значить для их бессмертной души или оно — сплошная бессмыслица и жестокость? Мы склонны думать, что наш духовный рост происходит при посредстве разума, сознательного отклика, путем умственного возрастания. Мы воображаем, что наша духовная жизнь состоит из раскрывающихся в нас возвышенных мыслей и глубоких чувств. Но не в этом духовная жизнь, не это — жизнь Духа. Это — та промежуточная область, которая не принадлежит ни телу, ни духу. Я поясню свои слова сравнением. Мы крестим ребенка. Чего мы ожидаем — если вообще ожидаем чего-либо? Почему мы считаем, что в этом есть смысл? Потому что мы верим, что, осознанно или нет, живой дух, живая душа ребенка способна встретить лицом к лицу Живого Бога. Независимо от всякого психологического восприятия, всякого интеллектуального или эмоционального отклика живая душа встречает Живого Бога, и таинства Церкви обращены к этой живой душе, которая в своем познании Бога не зависит ни от интеллекта, ни от сознания, ни от чего подобного.

Но в таком случае это верно в отношении всего того, что происходит в теле или душе ребенка еще до того момента, когда он может осознавать случаемое на интеллектуальном уровне. Следовательно, если болен ребенок того возраста, когда мы не можем ожидать, что он будет сознательно понимать происходящее, когда он еще не способен научиться тому, что требует воли, интеллекта, зрелых чувств, активной веры, активного принятия, то это не означает, что происходящее с ним в теле никуда не ведет, что оно не станет положительным событием или положительным вкладом в его вечную

жизнь. И это, я думаю, особенно важно осознать родителям, взрослым, когда с ребенком как будто нет контакта, как в случае умственно недоразвитых детей. Есть предел общению в слове, но нет предела другим формам общения. В конечном итоге, встреча двух людей происходит за пределом слов, она происходит там, где Бог. В Православной Церкви, мы настаиваем, что беременная женщина должна исповедоваться, должна выправить свою жизнь, причащаться, молиться, потому что связь, существующая между нею и ребенком, такова, что все случающееся с ней случается и с ребенком. Когда ребенок родился, мы ожидаем, что родители молятся над ним. Мы крестим, миропомазываем и причащаем младенцев на том же основании, о котором я говорил выше: потому что Живой Бог может встретить Свое живое создание на той глубине, которая далеко за пределами любых возможностей человеческого общения. Когда ребенок болен, без сознательной как бы восприимчивости, всегда есть возможность молиться над этим ребенком, молиться о нем, держать его перед Богом и приобщать его таинствам Церкви. Если бы родители и окружающие такого ребенка люди больше это осознавали, если бы, вместо того чтобы стараться пробиться через непроходимую стену, они погружались в те глубины, где мы все встречаемся в Боге, то могла бы возникнуть осязаемая взаимная связь — связь, которую ребенок воспринимает и которая стала бы началом вечного взаимоотношения.

Это относится и к смерти. Бог не есть Бог мертвых, Он есть Бог живых (Мк 12:27), и если мы живем в Боге, между нами есть близость. Часто, когда из этой жизни уходит ребенок, родители переживают двойную горе. С одной стороны, умер ребенок. Нет больше физического присутствия, нет непосредственного физического общения. Но кроме того, мы странным образом воображаем, что ребенок, умерший младенцем, навсегда им и останется, что он останется вне сознательного контакта, потому что на земле он умственно не развился и не мог общаться на уровне интеллекта и тех эмоций, которые нас связывают. Но ведь это живая душа, живущая в Живом Боге и Его силой, и если бы только мы могли достичь глубин собственной души, собственного духа, мы могли бы без страха быть уверенными: ничто не может разлучить нас. Когда наступит полнота времен, исполнение всего, мы встретимся не на уровне нашего психологического богатства или убожества, мы встретимся — дух с духом и душа с душой; это мы должны бы осознавать уже теперь, на земле. Наши взаимоотношения с теми, кто ушел из этой жизни, не в прошлом и не в будущем: они в настоящем — в скоротечном мгновении настоящего, в котором мы встречаемся с вечностью, то есть с Богом. Наша связь с теми, кто ушел из этой жизни, в настоящем, она принадлежит именно категории вечности, а не времени. Да, действительно, нет физической встречи, физического общения, но в любом случае мы общаемся не на этом уровне. Даже в теперешнем нашем состоянии, когда между нами есть отношения, они обусловлены не просто взаимопониманием на уровне слов, языка, символов. Мы понимаем друг друга, отношения существуют, постольку поскольку мы встречаемся в молчании, на глубинах, душа с душой. В каком-то смысле, подлинное общение начинается там, где все способы общения оставлены в стороне. Подлинное взаимопонимание — за пределом слов. Когда страдает ребенок, мы актом веры должны принять его способность вырастать все больше в тесную близость с Богом, потому что он — живая душа, и мы должны быть уверены, что то, что с ним происходит, не напрасно. И когда дети уходят из жизни, мы должны помнить, что Бог есть Бог живых.

При всем этом нельзя недооценивать прикосновение, физический контакт. Почти все религиозные обряды совершаются через контакт: возложение рук, благословение — так многое совершается физически, и мы должны осознавать духовные способности, восприимчивость нашего тела к области духа. Без тела мы не могли бы причащаться таинству Тела и Крови Христовых, не могли бы приобщиться Богу. Через тело и благодаря тому, что оно представляет, чем является, можем мы иметь это соединение со

Христом и Богом. В человеческих взаимоотношениях прикосновение играет колоссальную роль. Столько сострадания, любви, нежности можно передать прикосновением руки, не словами и речами, а — взяв человека за руку, положив руку ему на плечо... Это тем более относится к больным детям. Или вернее, нет, не только к детям — потому что в тяжелой, серьезной болезни каждый снова становится ребенком. Прикосновением можно передать столь многое — таинственное, священное или просто человеческое (что тоже является священным и таинственным), и этому следует научить родителей больных детей: где бессильны слова, где нет как будто пути к общению, есть таинственный путь передать непередаваемое, то, что невозможно выразить. Любовь, нежность, сострадание, но также веру и непоколебимую уверенность — все это можно вложить в жесты и прикосновения, в то, как мы обращаемся с телом.

Нам приходится иметь дело не только с больным ребенком, но и с теми, кто в горе окружают его. Вместо того чтобы погрузиться в печаль, отдаться ее всепоглощающей и разрушительной власти, они верой должны познать, что участвуют в таинстве, в ситуации, где кончается человеческая сила и властно вступает Божественная Сила, созидая Царство, в котором каждый ребенок (а все мы — чьи-то дети) участвует так или иначе в тайне Господа Иисуса Христа, родившегося в этот преходящий мир, чтобы умереть и через Свою смерть открыть нам несокрушимую вечную жизнь.

## **Перед лицом страдания<sup>57</sup>**

Я собираюсь говорить сейчас о страдании, но не с философской точки зрения, не о его связи со злом, я буду говорить именно о том, как быть, когда перед нами встает страдание как факт. В своем выступлении я буду обращаться к тому опыту, который накопился у меня на протяжении многих лет в самых разнообразных ситуациях, когда мне постоянно приходилось иметь дело со страданием людей, подходить с вниманием к нему. Я работал в госпиталях, в мирное время и во время войны, около четырнадцати лет. Мне пришлось столкнуться со страданием во время войны, не только занимаясь полевой хирургией, но и общаясь с солдатами, которые страдали, затем мне пришлось иметь дело с человеческим страданием в качестве священника. И, как каждый из нас, я вынес какой-то опыт страдания из собственной жизни.

Первое, что я хотел бы подчеркнуть: выносить опыт, делать заключения из страдания других людей вполне оправданно, но вместе с тем в этом есть некоторая двусмысленность. Это оправданно, потому что если вы связаны с людьми привязанностью, дружбой, если для вас много значит то, что они стоят плечом к плечу с вами, как товарищи по оружию, если вас глубоко трогает тот факт, что они вверили вам свое тело, свою цельность, свое будущее, свою жизнь и смерть, то между вами есть уровень взаимопонимания: оно коренится в доступном нам сострадании. Но сострадание не есть страдание, оно не значит, что мы несем чужую боль так же, как сам страдающий, наравне с ним. Сострадание означает, что мы страдаем вместе с ним, и это положение более сложное. Если у вас есть собственный опыт страдания, ваше сострадание питается этим опытом, и тем не менее страдание ближнего вы знаете воображением, а не физически. С другой стороны, сострадание обнимает не только физическую боль, оно охватывает и нравственные страдания другого человека, всего человека, чье страдание перед вами. Так что вы увидите, что опыт, который я вынес из того, что наблюдал, очень несовершенный, но я могу также сделать некоторые выводы из того, что говорили страдающие люди, из свидетельства людей, которые имели право говорить о собственном страдании и о том, как можно справляться с ним.

Остановимся на минуту на этом последнем моменте: на том, как смотреть в лицо страданию. Есть разница: пассивно, робко или с возмущением претерпевать страдание — или принять его. Не каждый, кто страдает, принимает страдание, глядя ему в лицо. Очень часто мы бежим от страдания, а оно преследует нас, словно бич Божий. Посмотреть ему в лицо мы можем не в тот момент, когда собираемся с мужеством и соглашаемся трезво взглянуть на вещи; это возможно, только если нам есть на что опереться, в противном случае мы способны бываем на миг взглянуть в лицо страданию — и тут же нас сломит страх, тревога, сознание бессмысленности того, что мы переносим. Чтобы встретить страдание лицом к лицу, надо воспринимать жизнь смело и мужественно. Если мы изначально считаем, что жизнь должна быть легкая, что страданию нет места в ней, что главное — жить и получать от жизни все, что она может дать приятное, то очень трудно взглянуть в лицо страданию. Мы можем проявить мужество на короткое время, но не способны сделать его своей постоянной жизненной позицией. Но если я живу ради чего-то, если я готов умереть за что-то, если для меня существуют ценности бóльшие, чем я сам, вещи более значительные для меня, чем то, что случается со мной, у меня есть опора и я могу смотреть в лицо страданию.

Вы скажете: ну, это геройство! Нет. Так действует каждый из нас по отношению к некоторому кругу обязательств или взаимоотношений. Мы готовы встретить страдание и переносить его ради кого-то *одного*, вместе с кем-то одним или по определенной причине и отстраняем, вернее, отвергаем страдание, когда оно посылается нам ради другого человека или иной цели. Это говорит о том, что даже на самом низком уровне мы способны смотреть в лицо страданию, если оно как-то связано с ценностями, которым мы готовы служить, или с людьми, которые достаточно для нас значат, чтобы мы забыли самих себя. И тут, идет ли речь о Боге или о людях, решающее слово — *любовь*, не долг, не мужество. Понятие долга возникает, когда любовь слаба. Мать проводит ночь у постели больного ребенка: у нее нет чувства, что она «исполнила свой долг». Она просто не может поступить иначе. Платная сиделка исполняет свой долг. То же самое справедливо сказать, когда мы отдаем свою жизнь, когда живем или умираем ради чего-то, что глубоко заложено в нас, что важнее для нас, чем то, чему мы противостоим.

Страдание — не всегда зло. Это знает врач, знает медсестра, знают бывалые пациенты. Боль — момент, когда нам дается предупреждение, что что-то не в порядке. Иначе мы оказались бы в трагическом положении без всякого предупреждения. Начинаящего медика учат, что, если пациент страдает, не следует облегчать его боль, пока не найдена ее причина: если снять боль, у врача порой не остается никаких данных; это же относится к душевным страданиям. Бесполезно снимать боль успокаивающими средствами, или «опиумом для народа», или слабыми формами опиума, отводя людей от переживания страдания, заставляя их забыть о страдании на короткое время. Мы должны быть готовы помочь людям обнаружить причину страдания и помочь им справиться с ней.

Вы, может быть, скажете, что в медицинской ситуации все обстоит проще, потому что довольно быстро врач находит причину болезни и может облегчить ее. Да, но и тут есть другая сторона вопроса. Вы, наверное, замечали, как легко нас охватывает страх перед страданием, и сам этот страх становится причиной страдания даже большего, чем объективное страдание, которое мы несем. Если мы не научимся выносить страдание, когда оно настигает нас, как можно дольше, до предела наших сил, мы постепенно сможем терпеть все меньше и меньше, пока, наконец, потеряем всякую способность терпеть что бы то ни было. Мысль о страдании, страх, что оно вернется, заставит нас принимать какие-то меры или лекарственные средства — и мы доведем себя до полного поражения. Вы ведь знаете, как люди часто прибегают к аспирину или чему-то подобному, потому что чувствуют, будто что-то не в порядке. Часто это ощущение

оказывается обманчивым, ничего не случилось бы, но если вы снижаете свой уровень выносливости, в какой-то момент окажется, что вы ничего не способны терпеть. И тут, как я сказал, вас ожидает полный крах, потому что и без всякой реальной причины вы будете жить в страхе, в тревоге: *а вдруг* появится боль, страдание. Как часто люди проводят долгую жизнь — семьдесят, восемьдесят, девяносто лет — в страхе смерти. Они могли бы жить спокойно и без страха всю жизнь, за исключением одного дня, если бы отложили свое ожидание смерти.

То же самое можно сказать о самых разных видах страдания, которые мы предвосхищаем и против которых стараемся бороться, порой успешно, пока дело касается нашего тела, но только увеличивая при этом свою предрасположенность тревожиться. А между тем смотреть в лицо реальности гораздо проще, чем мы воображаем. Это очень важно в нашем отношении к страданию. Очень часто мы находим его невыносимым не потому, что в данный момент не в силах терпеть его, а потому, что относительно выносимая боль данного момента помножена на воспоминание обо всем, что мы уже вытерпели, и на мысль о том, что страдание будет все длиться и никогда не перестанет. Очень часто люди сдаются, теряют мужество перед лицом страдания из-за того, что предвидят в будущем. Нам бы очень пригодились умение в каждый миг нести сиюминутную боль, страдание, вместо того чтобы предвосхищать все будущее, вечную боль, бесконечное, все возрастающее страдание. Здесь можно процитировать слова: «У меня нет ничего общего со смертью: когда она придет, меня не будет, если я умер, ее нет». Если я живу в настоящем времени, нет ни прошлого, ни будущего. Когда я окажусь в той точке пространства и времени, которую называю будущим, той минуты, которую я претерпеваю сейчас, уже не будет. Так зачем же мне проживать совокупность вспоминаемого прошедшего и воображаемого будущего, собранного в напряженный и невыносимый настоящий момент?

И кроме того, большую роль в терпении страдания играет осмысленность. А смысл может быть очень разного уровня: например, у нас хватает выносливости, когда мы действительно стремимся к чему-то, когда что-то важно для нас. Тогда мы все забываем и делаем то, что для нас важнее, чем наша боль, наш комфорт, даже покой. И мы ведь постоянно что-то терпим, всякие мелкие неудобства, когда действительно стремимся достичь чего-то. Я не говорю о великих примерах, о стойках, но все, что в духовной жизни мы называем аскетизмом, означает «тренировка» — и очевидно, что тренировка предполагает, что я буду принуждать себя изо всех сил, до предела своих возможностей отказаться от одного и делать другое. Бегун должен отложить временную лень, преодолеть усталость и прийти к каким-то результатам, в противном случае, если он не делает это настойчиво, он никогда не разовьет свое дыхание и мускулы. Это относится ко всем формам жизни. Мы постоянно, даже не сознавая того, находимся в состоянии аскетической тренировки. Эта ситуация становится проблемой, когда к ней примешивается нравственное или физическое страдание, и тогда нам приходится оценить некоторые моменты. Готов ли я сразу сдаться, что бы ни встретилось на моем пути? Готов ли я к поражению? Неужели мне недостает чувства собственного достоинства, чтобы противостать?

Я не хочу сказать, что можно построить настоящую внутреннюю жизнь, прочную и полноценную, на гордости, но на чувстве собственного достоинства — да, можно. И порой даже предполагаемое страдание может быть побеждено этим чувством достоинства. Помню, во время освобождения Парижа мне предстояло пересечь совершенно пустой мост. Вся беда была в том, что на другом его конце стоял пулемет, — собственно, поэтому-то мост был безлюдный. Но идти надо было. И помню, стоя на четвереньках за углом, я подумал: как быть? Можно ползти, а можно идти... И вдруг я

представил себе, как унижительно ползти по пустому мосту — надо мной небо, вокруг весь город, и всего-то впереди эта нелепая штука, которая может вовсе и не выстрелить! Встать и пойти меня побудило не мужество, мне просто стало стыдно, когда я представил себе, как нелепо будет ползти на животе 500 ярдов, в то время как ничего не происходит. Я думаю, что очень часто, если бы мы посмотрели на себя и подумали: не выгляжу ли я нелепо? — мы бы ответили: да, потому что страшусь чего-то (что может вовсе не произойти) и не готов к этому.

Бывают и другие ситуации, когда такая готовность приобретает гораздо большую глубину и значение. Я пока оставляю в стороне ту целенаправленность, о которой говорил раньше, желание сделать что-то, что сильнее моего страха, или внутреннего беспокойства, или физических препятствий, включая и острую боль. Сейчас я имею в виду взаимосвязь между страданием, физическим и нравственным, и нашим положением в мире людей.

Возьмем в пример зла человеческую жестокость, насилие. Человеческая жестокость всегда врежется раной в человеческую душу или человеческую плоть. Это — место встречи зла и добра или невинности... Есть мучитель и жертва. Какая же возникает ситуация? Может создаться ситуация ненависти. Жертва может обернуться к мучителю с ненавистью и постараться превратить в жертву его или свести всю ситуацию к соревнованию ненависти и равновесию, вернее, нарушенному равновесию силы, власти. Но это ничего не решает ни в отношении зла, ни в отношении страдания, потому что, если перевернуть ситуацию, если жертва станет мучителем, агрессором, зло просто удвоится, страдание только переместится на другую сторону. С *вашей* точки зрения разница велика, но объективно это не так. Количество ненависти возросло, страдания — тоже, и совершенно бесцельно, без всякого творческого результата; невозможно отучиться бить других, потому что тебя самого жестоко избили. Ты только решаешь: надо стать сильнее.

Но возьмите другую ситуацию, речь пойдет о конкретном человеке. Мой старший друг, Федор Тимофеевич Пьянов, во время войны был взят в концентрационный лагерь. Я встретил его после войны, и в беседе он сказал, что из концентрационного лагеря, где он провел четыре года, он вынес тревогу. Я спросил, что он имеет в виду — потерял ли он веру, или его одолело отчаяние, и он ответил: «Нет. Но пока я был в концентрационном лагере, я чувствовал, что у меня есть право и власть заступаться за тех людей, которые так мучили нас, потому что в каждое мгновение я был страдальцем и имел божественную власть простить. Теперь я не страдаю. Но те люди, которые причинили нам столько нравственной боли и физического страдания, стоят перед Богом. Когда-то они станут перед Его последним Судом, и когда я молюсь о них, я чувствую, что не могу больше молиться с уверенностью, что Бог меня слышит, потому что я больше не страдаю. Я ничем не могу доказать Богу, что моя молитва искренняя, что она идет из глубин». Вот человек, который встретился со страданием и сумел подойти к этой встрече *творчески*: это стало возможным, потому что в его подходе было достаточно крепости, чтобы зло было сведено на нет, хотя боль, страдание остались. Один из наших епископов, погибший в сталинское время, сказал: «Для христианина — привилегия умереть мучеником, потому что только мученик сможет в день Суда встать перед судным престолом Божиим в защиту своих преследователей и сказать: в Твое имя и по Твоему примеру я простил их, Тебе больше нечего взыскать с этих людей!» Это до конца творческий подход к страданию, и на уровне страдальца, и на уровне зла, которое не равнозначно страданию.

И поскольку эти дни мы посвятили тому, как обнаружить Бога в нашей жизни, в человеческих взаимоотношениях, во внешних обстоятельствах жизни, я хотел бы коротко рассказать вам еще об одной женщине, моей сверстнице, которая умерла от рака груди. Она была женщина очень простой и непосредственной веры. Когда обнаружилось, что у

нее острая форма рака, который, вероятно, убьет ее за довольно короткий срок, и что можно попытаться применить лечение, хотя успех маловероятен, она стала лечиться, потому что считала, что Бог, как говорит Писание, создал лекарство и врача (Сир 38:1—15) и совершенно законно ей лечиться. Лечение не помогло, и постепенно она стала умирать. У нее сделались язвы, затем глубокие раны, и в конце концов болезнь разъела ребра, так что были видны легкие. На протяжении всего этого времени эта женщина с невероятной простотой веры и невероятным мужеством, родившимся из ее простой веры, говорила: «Я не стану принимать никаких болеутоляющих средств, пока могу терпеть боль», — и терпела. Однажды ночью, уже под утро, она позвала мужа и сказала: «Теперь можешь давать мне что угодно, чтобы избавить от боли. Я лежала, и внезапно увидела Христа, и теперь я в мире. И больше не имеет значения, жива я или умерла». В эту минуту она почувствовала, что может равно принять жизнь и смерть и что она получила от страдания (и не только физического, потому что ей было сорок с небольшим лет, у нее были двое детей и муж, и она любила жизнь) все, что оно может дать. Она приняла это и теперь нашла вечную жизнь в лице Того, Кто есть Вечная Жизнь, и более не имело значения, как эта вечная жизнь скажется — выздоровлением или смертью.

Как я уже говорил вчера, я даю вам примеры, которые далеко превосходят наш опыт и явно далеко превосходят веру, и мужество, и глубину большинства из нас, но они показывают нам, на что способны человеческая душа и человеческое тело, чем может быть человек плоти и крови, когда у него есть простота и убежденность, — и не говорите мне, что они были способны на это, потому что, вероятно, были бесчувственны к боли.

И еще одно, последнее. Один из элементов душевного страдания при болезни — это чувство, что я страдаю, а Богу безразлично. Бог где-то вне. Он восседает, словно арбитр, наблюдает, с должным ли расположением я страдаю, готовый увенчать меня венцом мученичества, когда я претерплю больше, чем разумно можно было ожидать от меня... Это не так, и не так в двух отношениях. Вы, вероятно, знаете на опыте собственной жизни, как мучительно больно переносить страдание и отчаяние кого-то, кого вы любите больше, чем себя самого, или столько же, сколько себя самого, или просто со всей силой любви, какая у вас есть. Так вот, нам надо помнить, что таково положение Бога по отношению к нам. Мы достаточно значим для него, чтобы Он возжелал нас в бытие, чтобы мы стали Его спутниками на вечность. (Боюсь, глядя на самих себя и на окружающих, мало кто из нас пожелал бы иметь своих соседей спутниками в вечности!) И кроме того, ценность, которою Он ценит нас, — это вся жизнь и вся смерть Единородного Сына Божия. Вот что мы значим для Него.

И когда мы говорим о Божественном сострадании, у нас есть мера этому состраданию. Это не душевные страдания, которые мы испытываем, а нечто большее. Мы ведь не умираем от этого страдания — *Он умер*. И солидарность, которая есть между Им и нами, не просто солидарность из чувства симпатии, она идет гораздо дальше. Он стал человеком и принял все ограничения нашей природы. Больше того: Он стал человеком и согласился войти в *единственную* трагедию человечества, потерю Бога. Мы потеряли Бога и потому умираем, что в нас нет вечной жизни; и весь наш мир мы чудовищно извратили, потому что у нас нет ключа к гармонии. И в словах Христа: *Боже Мой, Боже Мой! зачем Ты Меня оставил?* (Мк 15:34) — мы должны видеть их подлинный смысл. Это момент, когда Он согласился настолько полно отождествиться с нами, что опытно пережил полное, убийственное, мертвящее *безбожие* и умер — потому что разделил с нами нашу обезбоженность, отсутствие Бога.

Если это так, то мы можем понять, что Его страдания на кресте, Его смерть не могут быть измерены болью, которую Он испытал, и тем, что Он умер. Мера Его страданий — в том,



что Он не мог пройти через гефсиманские муки, через ужас Страстной недели, иначе как облекшись в нашу обезбоженность, отождествив Себя с нами в нашей оставленности. Вот мера Божией солидарности, и это, я думаю, должно показать нам: что бы мы ни претерпевали, Его страдания больше наших — Он страдает в нас, из-за нас и с нами. А раз так, то мы можем вытерпеть гораздо больше, чем обычно терпим.

Так что будем просто смотреть в лицо жизни со всем мужеством и всей решимостью, на которые мы способны, *больше*, чем мы способны, со всей возможной нам открытостью. Будем принимать мелкие и большие страдания до предела своих сил, чтобы отучиться от рабского страха перед тревогой и болью, который разрушает нас. Воспримем из душевной и физической боли, из причастности к гефсиманской муке, из ее понимания, воспримем от страдания и от смерти все, что они несут, и тогда увидим, что можем поистине быть на земле народом Божиим. То есть искупительным присутствием Христа, Который через страдание вошел до предела в полную солидарность с нами, Который довел ее до полноты в Своей смерти и Который через страдание, изнутри страдания, подобно тому человеку, о котором я упоминал, приобрел божественную власть уничтожить зло, победить, преодолеть зло, простить — и сделать реальностью Царство Божие: может быть, на мгновение и вместе с тем навсегда.

Я сознаю, что говорил о своей теме ограниченно и отрывочно. Но примите то, что я сказал, продумайте это, сопоставьте с тем, что сами знаете о страдании, знаете о жизни и борьбе, с собственным опытным знанием мужества и веры и тогда узнаете еще очень многое, чего я не знаю. И делитесь этим с другими! Потому что нам нужна взаимная поддержка, чтобы стоять перед лицом общей трагедии человечества, как и перед нашей собственной. А теперь я хотел бы призвать на вас Божие благословение, и напоследок произнесем вместе Молитву Господню.

## **Пастырь у постели больного<sup>58</sup>**

*Владыка, ты работал врачом и после пострига. Насколько пастырь должен быть не только духовником, но и сиделкой, и врачом у постели больного, умирающего?*

Что бы ни думал священник о своей роли, ему эта роль как бы предписана и навязана жизнью, потому что если он *пастырь*, то есть реально заботится о тех людях, которых Бог ему поручил, то его непременно будут призывать, когда возник какой-то кризис, будь то болезнь, будь то наступающая смерть кого-нибудь в семье. И болезнь — один из самых серьезных кризисов, потому что она ставит человека перед лицом целого ряда положений, о которых здоровый большей частью не думает. Во-первых, болезнь ему ясно говорит о том, что он смертный. Я говорю не о преходящей простуде, но когда человек заболевает сколько-нибудь серьезно, то — справедливо или нет — вкрадывается мысль: значит, я над собой не имею власти, я не могу помешать болезни мною овладеть, значит, я не смогу, если она мною овладеет до конца, избежать смерти... Это первый вопрос, который, может быть, не так ярко формулируется, но что-то такое проникает в сознание человека.

*То есть он не только нуждается тогда в пастыре, но и особенно открыт?*

Он особо открыт, если пастырь сумеет ему помочь эти переживания высказать. Если пастырь к нему подойдет и будет говорить: «Вот, вы сейчас заболели, вы должны понять, что за болезнью, может быть, смерть идет...» — то, конечно, человек замыкается. У меня был опыт в этом отношении.

Во время войны в нашей части был католический священник, который считал, что всякий раненый солдат или офицер может умереть в любую минуту, и единственная его, как пастыря, задача — раненого отысповедовать и причастить: раз он причащен, пусть умирает себе спокойно... Он приходил к каждому раненому, становился у ног постели и долго на него смотрел. Через некоторое время этот несчастный начинал ерзать, тревожиться: «А в чем дело, почему вы на меня так смотрите?» — «Ты же ранен, ты смотрел свою температуру?» — «Да». — «Плохая она». — «Доктора говорят, что это естественно». — «Доктора всегда так говорят, чтобы успокоить больного. Ты же знаешь, что можно и от небольшой раны умереть, если она загноится». И так он продолжал разговор, пока не загонял несчастного раненого в угол, исповедовал, причащал — и уходил, говоря мне (тогда — врачу): теперь ваше дело, я все свое сделал... Конечно, если священник будет так подходить к несчастному больному, то он его только напугает, тот закроется. И слишком часто, когда священник навещает больного, это рассматривают как предостережение: быть может, смерть у порога.

Но если священник имеет опыт болезни, либо потому что сам болел, либо потому что сумел *видеть* тех людей, которые болеют вокруг него (видеть — не так просто, это не зависит от того, что у тебя глаза есть, — надо уметь посмотреть), то и тогда есть целая — ну, не наука, а искусство. Наши отношения с людьми должны быть таковы, чтобы наш приход в дом воспринимался просто и с радостью. Это означает, что пастырское попечение о больных должно начинаться, когда люди здоровы, начинаться с установления простых, дружеских отношений.

Для того чтобы так, душевно, подойти к человеку, нужно громадное внутреннее целомудрие, нужно быть в состоянии посмотреть на человека как на икону, на живую икону, к которой ты подходишь с глубоким уважением, с благоговением и по отношению к которой ты будешь действовать, как действовал бы в храме по отношению к писаной иконе. То есть — молитвенно, благоговейно, чутко, смиренно, трепетно и прислушиваясь из всех сил к тому, что в человеке есть, что он может сам сказать, но и к тому, что Дух Святой в нем совершает. Внутреннее молчание священника, его способность встречать человека на какой-то глубине, очень важна, потому что болезнь — это момент изумительной встречи с человеком.

*Интересно, что ты говоришь о молчании. Значит, вопрос не только в слове, не только во внешнем подходе, но во внутреннем отношении к человеку, которое может поддержать и озарить больного.*

Самое главное — отношение и твое *присутствие*, так чтобы больной не чувствовал, что ты только ждешь момента, когда сможешь уйти по другим делам.

Мне вспоминается случай из моей работы в психиатрической клинике. Один больной провел там шесть месяцев и ни разу ни слова не ответил ни врачу, ни сестрам, ни приходившим родным. Я, припомнив беседу с одним психиатром, попросил начальника отделения дать мне возможность с ним сидеть. Я с ним сживал три, четыре, пять, шесть часов подряд без единого слова — я просто сидел, и он сидел. После десяти дней или двух недель он вдруг ко мне обратился и сказал: «Зачем вы все эти дни и часы со мной сидите, в чем дело?» И с этого началось его выздоровление благодаря тому, что он смог с кем-то заговорить. Это психопатологический случай. Не все мы — патологические случаи в таком же смысле, но все мы замкнуты в себе. У каждого из нас есть сердцевина, которую мы боимся открыть другому человеку. А вместе с тем, если мы не откроемся (я не говорю о тех глубинах, куда только Бог имеет право заглянуть), если человек не приоткроет тех глубин, где происходит внутренняя борьба между светом и тьмой, между жизнью и

смертью, между добром и злом, то твое священническое присутствие с точки зрения его болезни никакой пользы не принесет.

У меня есть близкий пример тому, правда, еще из моей врачебной работы. Помнится, на войне, во время первых боев, привели одиннадцать раненых солдат. Это был мой первый контакт с людьми прямо с поля битвы. Они были еще охвачены страхом. Я подумал: я должен как можно скорее сделать для них — для каждого — что могу, чтобы следующий не ждал слишком долго... Я работал как можно быстрее и отправлял их в больничную палату. Потом пошел туда и обнаружил, что я ни одного из них не могу узнать: ведь я смотрел на их раны — на грудь, на ноги, на живот, на плечи, а в лица не вглядывался, никто из них не был ранен в лицо. И они все оставались в состоянии шока, потому что они его не изжили. Когда была приведена следующая группа раненых, я, наученный первым опытом, решил, работая руками, с ними разговаривать (можно сделать руками очень многое, пока говоришь и смотришь на человека). Я каждому смотрел в лицо и задавал вопросы, потом, глядя, конечно, на свои руки и на его раны, делал то, что надо. Я спрашивал: «Как тебя зовут? Где тебя ранило? Очень ли было страшно?» — вопросы незатейливые, но такие, чтобы раненый успел за то время, пока я им занимаюсь, вылить свой страх, вылить свой ужас. И когда я потом посетил палату, во-первых, я всех раненых узнавал в лицо и, во-вторых, обнаружил, что шок у них прошел, потому что за наш короткий разговор они успели вылить свои чувства.

*Все, что ты говоришь, указывает на другой темп жизни. У постели больного надо действовать мудрее, чем обычно: говорить спокойнее, поступать осторожно и смиренно...*

Я совершенно уверен в этом. Инициатива в каком-то отношении должна идти от больного, а не от тебя. Ты должен быть настолько углубленно-молчалив и открыт, чтобы больной мог в любую минуту с тобой заговорить. Важнее всего, больше всего помогает (и научиться этому трудно) способность сесть и *пребыть* тут, в полном покое. Это подразумевает две вещи. С одной стороны, это надо делать так, чтобы тот, о ком вы заботитесь, сознавал, что вы пришли на неограниченное время, вы не спешите, вы *совершенно* присутствуете. Ведь вы прекрасно знаете, как выглядит посещение, если человек присаживается и по его лицу явно, что у него десять минут времени, и он ждет, чтобы они прошли и он мог бы сказать: «Ну, мне пора!» Так часто мы озираемся вокруг, смотрим по сторонам, и тот человек, которого мы будто бы пришли навестить, чувствует, что на самом деле мы вовсе не с ним. Физически — да, мы тут, но мысли наши разбегаются, мы думаем о предыдущем или о следующем пациенте или о чем-то, что мы должны были или собирались сделать. Если вы кого-то посещаете, пусть ему будет совершенно ясно, что *все* время, каким вы располагаете — пусть пять минут, — принадлежит ему совершенно безраздельно, что в эти пять или сколько-то минут ваши мысли не будут заняты ничем другим, что нет на свете человека более значительного для вас, чем тот, с кем вы находитесь.

И кроме того, *умейте молчать*. Пусть болтовня отступит, даст место глубокому, собранному, полному подлинной человеческой заботливости молчанию. Молчанию научиться нелегко. Сядьте, возьмите больного за руку и скажите спокойно: «Я рад побыть с тобой». И замолчите, будьте с ним, не воздвигайте между вами целый мир незначительных слов или поверхностных эмоций. Пусть ваше посещение будет ему в радость, пусть он знает, что и для вас быть с ним — радость. И вы обнаружите то, что я не раз обнаруживал за последние 30—40 лет: в какой-то момент люди становятся способными говорить — говорить серьезно, говорить глубинно, произносить то небольшое,

что сказать стоит. И вы обнаружите нечто еще более поразительное: что вы и сами способны говорить именно так.

*Тут нужно большое терпение и большое смирение!*

Видишь ли, у меня нет ни терпения, ни смирения, но у меня есть усидчивость. Я думаю, что, если у священника хватит просто честности сказать: я ничего не могу сделать, кроме того, чтобы прийти, сесть и ждать, что будет, — и то будет на пользу. Очень разрушительно для душевного состояния человека, если священник приходит, садится и смотрит на часы. Может быть, вы спешите, может быть, вам надо попасть еще куда-то, но тот, с кем вы сидите, должен чувствовать, что все то время, которое вы проведете с ним, вы думаете только и исключительно о нем. Следует научиться видеть человека и слышать его. И в течение всего разговора воспринимать не только слова, но и выражение глаз, лица и голоса. Мы, может быть, услышим очень мужественные слова, произнесенные со страхом в голосе. И мы должны быть в состоянии ответить на страх или на невысказанный вопрос, скрытый за словами, а не только на произнесенные слова. Смотря по тому, каковы отношения с данным человеком, можно действовать по-разному. Если вы близко знакомы, можно сказать: «Нет, будь правдив, не притворяйся. Давай говорить прямо: ты боишься — в чем дело?» Если вы знакомы не так близко или если отношения не так глубоки, следует найти способ дать человеку понять, что мы понимаем его состояние, не рая его. У нас должны быть мужество и такт, которые позволят больному заговорить о своих страхах, потому что одна из самых тяжелых вещей для него — это лежать, замкнувшись в свое одиночество, которое создается тем, что он не решается высказаться. Многие, думая, что смертельно больны, боятся задать вопрос, потому что страшатся ответа. И первое посещение больного может стать началом правдивых отношений.

Еще один момент отношений с больным (это затрагивает не столько священника, сколько все окружение человека, очень широко) — обычай навещать больных. Для больного такие посещения могут быть большим благодеянием, но могут оказаться сущим бедствием. Я знаю, Евангелие учит нас, что посещать больных — добродетельно. Но я знаю также, что применять евангельские советы и заповеди следует с большой рассудительностью, руководствуясь любовью; и очень часто любовь, которую мы вкладываем в свое посещение больного, можно было бы выразить куда лучше, предоставив ему возможность побыть в покое. Мне случалось болеть, и чтобы не стать жертвой милосердия друзей, я вешал на дверь записку, которая многих задевала: «Вот случай из жизни святого Арсения Великого. Одна знатная женщина добралась из Константинополя в пустыню, чтобы посетить его, и сказала: „Отче, дай мне заповедь, которую я бы выполняла всю жизнь!“ Арсений ответил: „Вот тебе заповедь, и помни, что ты обещала никогда не нарушать ее: когда услышишь, что Арсений в одном месте, сразу удались в другое“».

Кроме того, что порой именно любовь должна нас удержать от посещения тех, кто прекрасно и счастливо мог бы обойтись без наших утомительных, расслабляющих визитов, очень часто посетитель мог бы содействовать поправке больного, помогая ему быть собранным, серьезным, полностью владеть той силой жизни, которая в нем есть, помогая не быть рассеянным, опустошенным, не разбрасываться. Вы сами знаете, как опустошительны некоторые разговоры, как нас истощают иные посетители. Вот чему, я думаю, должны научиться и молодые, и немолодые священники, вот чему следует учить врачей, сестер, родственников. Одна из вещей, которая может погубить встречу или посещение больного, — это пустая болтовня, пустословие, потому что болтовней, словно ширмой, часто пользуется человек, чтобы защититься от необходимости быть серьезным, высказать свою тревогу, быть правдивым и истинным. Постоянное суесловие открывает

этому большие возможности, и пациент становится все менее реальным, он все меньше в состоянии справляться с болезнью.

*Как научиться этому трудному делу молодому священнику, еще не обогащенному ни жизненным, ни пастырским опытом?*

Надо стать как музыкальная струна, которая сама не издаст звука, но как только к ней прикоснется палец человека, она начинает звучать — петь или плакать. Этому должен научиться всякий человек, на этом основаны все человеческие отношения. Если врач так относится к больному, если священник так относится к пасомому — больному или не больному, — то создаются совершенно новые отношения.

*Мы столько говорим о встрече священнослужителя с больным и еще ни слова не сказали о таинствах. Это, наверное, удивит того священнослужителя, который привык быть «требоисполнителем».*

Я думаю, что одна из задач священника — сделать больного восприимчивым к таинству. Таинство не является магическим способом исцелить или очистить человека. Конечно, в таинстве есть объективная сила, объективная реальность, но человек может ее получить и схоронить. Отец Георгий Флоровский мне как-то сказал, что, когда мы крестим ребенка, мы словно вкладываем зернышко в глубины той почвы, которую он представляет. Но если зернышко не будет возвращено, оно может так лежать до конца жизни. И больной не обязательно открыт. Я больше скажу: часто больной замыкается, потому что боится (знаешь, существует множество нелепых предрассудков), что, если ты ему предложишь причаститься, это значит, что ты в нем видишь умирающего.

Кажется, митрополит Платон Левшин написал, что не лишение таинств, а презрение к таинствам отнимает у человека благодать. С другой стороны, помнится, святой Иустин Философ говорит, что достаточно было бы причаститься один раз в жизни, потому что, как говорит апостол Павел, дары Божии неотъемлемы (Рим 11:29). Но нам приходится возвращаться к таинствам, потому что мы теряем в своих глубинах то, что там лежит, словно клад. И если нет возможности получить таинство, приобщиться к тем или другим таинствам, то мы можем, как Феофан Затворник говорит, в себя углубиться и приобщиться тому, что нам *уже* дано, что в нас *уже* лежит, как драгоценный плод.

Поэтому не надо «пугать» человека: «Вот, я тебя причащу, потому что — кто знает, — может быть, ты сегодня ночью умрешь» (ведь это так воспринимается больным человеком), а надо его успокоить и постепенно довести до его сознания, как было бы замечательно для него, чтобы все его духовные силы собрались воедино вокруг таинства причащения, причем не безусловно, а как результат очищения совести.

Мне сейчас вспомнилась одна женщина, которую я напутствовал сорок лет тому назад. Она умирала и просила ее причастить. Я сказал, что она должна исповедаться. Она исповедалась, и в конце я ее спросил: «А скажите, не остается ли у вас на кого-нибудь злоба? Есть ли кто-нибудь, кого вы не можете простить?» Она ответила: «Да. Я всем прощаю, всех люблю, но своему зятю я не прощу ни в этом мире, ни в будущем!» Я сказал: «В таком случае я вам ни разрешительной молитвы не дам, ни причащения». — «Как же я умру не причащенной? Я погибну!» Я ответил: «Да! Но вы уже погибли — от своих слов...» — «Я не могу так сразу простить...» — «Ну, тогда уходите из этой жизни непрощенной. Я сейчас уйду, вернусь через два часа. У вас впереди эти два часа для того, чтобы примириться — или не примириться. И просите Бога, чтобы за эти два часа вы не умерли». Я вернулся через два часа, и она мне сказала: «Знаете, когда вы ушли, я поняла,

что со мной делается. Я вызвала зятя, он пришел, мы примирились». Я ей дал разрешительную молитву и причащение.

Но нельзя рассчитывать, что причащение тебя исцелит автоматически. Мы знаем из собственной жизни: мы все, не «люди» вообще, а *мы*, причащаемся — и разве можно сказать, что мы делаемся святыми? Мы ведь недостаточно изменяемся...

И таинство елеосвящения<sup>59</sup> не направлено специально на исцеление тела. Если посмотреть на подготовку, видно, что человек должен сначала принести исповедь за всю жизнь. А исповедь всей жизни не означает, что вы принесете список всего, что случилось за прошедшие шестьдесят лет, — это означает, что вы проделаете целый путь, расчистите все, что было недолжного. Из молитв на елеосвящении ясно, что мы ожидаем исцеления души, которое, даст Бог, перельется и принесет исцеление и телу. Я думаю, что неверно прибегать к таинству елеосвящения с единственной целью — получить телесное здоровье, это не некое «клерикальное лечение», это — подлинное проявление пастырского попечения. В процессе подготовки человека, помогая ему обрести вновь цельность, целостность души и духа, мы, может быть, обнаружим, что он сможет сказать: я чувствую себя настолько преображенным, что мне уже не важно, жив я или умру, получу ли физическое исцеление или нет...

*Священник приходит к незнакомому и порой неподготовленному человеку. Может быть, он крещен недавно или чисто формально. То есть в смысле церковном мы имеем «право доступа», но внутренней подготовки у него нет. Здесь как действовать?*

Я думаю, что не надо священнику накидываться на больного хищным зверем и думать: вот, я теперь за него возьмусь и то или другое сделаю; надо, чтобы сначала установились нормальные человеческие отношения между священником и больным. И это возможно, если священник готов посидеть, расспросить больного о его жизни, поделиться своей жизнью, и в рассказе о своей жизни, о своем опыте, о том, что он встречал, сказать нечто наводящее или помогающее. Я несколько раз, общаясь с умирающими, рассказывал им, как моя мать умирала, потому что это настолько мне близко, что человек, слушая меня, не мог думать, будто я сказки ему рассказываю для его пользы. И, делясь с человеком тем, что я сам пережил, я ему давал возможность и пережить нечто, чего он не переживал раньше, и понять что-то, и почувствовать, что он может об этих вещах говорить. Очень часто человек тяжело больной или знающий, что над ним смерть висит, боялся об этом говорить, словно опасаясь, что навлечет на себя смерть, если начнет о ней говорить вслух.

Помню, я навещал очень испуганного человека, который противился всякой попытке установить простое, прямое общение. Тогда я прибегнул к такому приему — я сказал: «Как замечательно, что вам не грозит смерть или серьезное заболевание». И по ходу разговора стал рассказывать о том, как умирала моя мать. У женщины, с которой я сидел, был рак, как и у моей матери. Мы долго говорили обо всем, что составляло наши с матерью переживания, и в конце концов эта женщина спросила: «Как вы думаете, я сумела бы встретить смерть так же, как ваша мать?» И тут мы смогли заговорить о ней самой, а не о моей матери.

Очень важный момент: надо ли предупреждать больного о грядущей смерти? Во-первых, надо, чтобы сказал очень близкий человек, а не просто сестра милосердия, доктор или кто попало — по должности. И, во-вторых, надо, чтобы тот, кто это скажет, не уходил сразу. Легче всего сказать и бежать. А человек, которому нанесли этот страшный удар — потому что редко кто ждет смерти, как ее ждал апостол Павел, ждут святые, — остается лицом к лицу со смертным приговором, а сестра милосердия будет подольше возиться с чаем,

чтобы вернуться только тогда, когда будет немножко легче. Вот этого никогда никто не смей делать! В таких случаях надо, как я сказал, сесть и побыть с человеком, и только тогда уйти, когда что-то развязалось внутренне. Когда скорбь стала общая, когда любовь победила, когда надежда на какой-то срок времени в руках, — тогда можно уйти. Но к этому надо возвращаться.

Так что один человек другому *может* помочь. Конечно, так не всегда бывает. Во-первых, надо уметь сказать, во-вторых, надо уметь побыть, в-третьих, надо, чтобы человек, кому ты это скажешь, был готов к тому, что ты говоришь. Не всякому можно бросить в лицо смертный приговор. Иногда, зная это, приходится, не прибегая ко лжи, постепенно готовить человека к тому, что физическая смерть придет, но «разве наши отношения могут умереть?» — и только тогда сообщить больному, что смерть действительно идет, когда он подготовлен.

Часто бывает, что больной давно уже догадался умом или в своем теле знает с совершенной уверенностью о грядущей смерти, а родные лгут: «Ах, как ты сегодня хорошо выглядишь!» или: «У тебя голос сейчас совершенно иной!» и так далее. А выйдут за дверь — и плачут. А больной отлично все это чувствует, потому что мы совершенно иным голосом говорим правду или лжем сознательно. В такой лжи есть преувеличение, есть какая-то особенная напряженность радости, и человек понимает, что все это сплошная ложь.

Поэтому когда человек тебе говорит: «Я чувствую, что умираю», можно ему ответить: «Знаешь, мы все под Богом ходим. Сейчас — нет, ты не умираешь, но, возможно, впереди смерть...» Или еще что-нибудь иное сказать, в зависимости от того, с кем ты говоришь. Но мне кажется, страшно важно не замкнуть человека в абсолютное отчаяние одиночества. Если окружающие все время будут говорить больному, что перед ним только жизнь, десятки лет впереди, в то время как сам он чувствует, что жизнь течет из него, как из раны течет кровь, — он не может докричаться до другого человека, который отказывается слышать, и остается замурованность. Больной как бы замурован один в тюремной клетки, ему некуда уйти, ему остается только смотреть на грядущую смерть и на все, что в его прошлом является мучительным злом или чем-то недоделанным.

А у священника своя роль. Не обязательно, я бы даже сказал, лучше, чтобы не он сообщал больному о смерти (разве что больной — его личный друг, но тогда это в другом плане происходит). Иначе больной в священнике всегда будет видеть профессионала, то есть человека, который пришел ради того, чтобы выполнить какую-то задачу. А нужно, чтобы сказал о смерти самый близкий человек, не обязательно тот или другой, а именно самый близкий. Это может быть друг, это может быть жена, это может быть брат, сын, дочь, кто угодно — тот, кто самый близкий и кто останется, кто будет при больном все время.

Я помню ужасный случай. Близкий мне человек умирал, мне не сказали ни о его болезни, ни о том, что грядет смерть. Меня вызвали, когда он был уже без сознания: «Отец Антоний, ты можешь причастить Мишу?» — «Нет, не могу больше причастить: он глотать уже не может. Почему вы меня не позвали раньше?!» — «Мы побоялись. Понимаешь, на тебе черная ряса». А мы были друзьями двадцать лет, он меня видел в черной рясе сколько угодно, и он меня не боялся... И человек ушел, потому что его «пожалели». А он давно знал, конечно, что умирает, потому что это состояние приходит не в одно мгновение.

*Мы говорили о том, как действовать священнику при постепенном умирании человека. Но ему придется иметь дело и с экстремальными ситуациями. Умирает человек неподготовленный, но нуждающийся в поддержке как никогда прежде...*

Большой частью самая страшная для умирающего мысль — та, что он отходит, умирает одиноко, то есть он был частью общества, семьи, жизни, а теперь вдруг настала смерть, и ему никто не может помочь. И мне кажется, что очень важно священнику (а если священника нет, то любому человеку, даже неверующему) подойти и дать умирающему почувствовать, что он не один. Когда человек в таком состоянии, то священник или близкий друг должен считать, что *этот* человек — единственный на свете, и ему отдать все внимание и все время. И тут я хочу дать пример.

В начале войны я был хирургом в полевом госпитале, и в моем отделении умирал молодой солдат. Я его, конечно, посещал днем, а в какой-то вечер подошел, взглянул на него, и мне стало ясно, что он не жилец. Я его спросил: «Ну, как ты себя чувствуешь?» Он на меня взглянул глубоко, спокойно (он был крестьянин, поэтому в нем была такая тишина полей, тишина лесов, тишина неспешной жизни) и сказал: «Я сегодня ночью умру». Я ответил: «Да, сегодня ты умрешь. Тебе страшно?» — «Умирать мне не страшно, но мне так жалко, что я умру совершенно один. Умирал бы я дома — при мне были бы и жена, и мать, и дети, и соседи, а здесь никого нет». Я говорю: «Нет, неправда, — я с тобой посижу». — «Ты не можешь просидеть со мной целую ночь». — «Отлично могу!» Он подумал, сказал еще: «Знаешь, даже если ты будешь здесь сидеть, пока мы разговариваем, я буду сознавать твое присутствие, а в какой-то момент я тебя потеряю и уйду в это страшное одиночество в момент, когда страшнее всего — умирать». Я ответил: «Нет, не так. Я с тобой рядом сяду. Сначала мы будем разговаривать, ты мне будешь рассказывать о своей деревне, дашь мне адрес своей жены. Я ей напишу, когда ты умрешь, если случится, навещу после войны. А потом ты начнешь слабеть, и тебе будет уже невозможно говорить, но ты сможешь на меня смотреть. К тому времени я тебя за руку возьму. Ты сначала будешь открывать глаза и видеть меня, потом закроешь глаза и уже меня видеть не сможешь, уже не будет сил открывать их, но ты будешь чувствовать мою руку в своей руке или свою руку в моей. Постепенно ты будешь удаляться, и я это буду чувствовать, и периодически буду пожимать твою руку, чтобы ты чувствовал, что я не ушел, я здесь. В какой-то момент ты на мое пожатие руки ответить не сможешь, потому что тебя здесь уже не будет. Твоя рука меня отпустит, я буду знать, что ты скончался. Но ты будешь знать, что до последней минуты не был один». И так и случилось.

Это один из целого ряда примеров. Я сидел, как правило, с каждым умирающим в нашей больнице, не только своего отделения, но и других отделений, и каждый раз повторялась пусть не та же картина, но то же взаимное отношение: нет, ты не один.

Другое, что я хотел сказать: человек как будто теряет сознание задолго до того, как умирает. И никогда не должны ни врач, ни сестра милосердия, никто вокруг него думать, будто потому, что он не может с ними общаться, он не воспринимает того, что вокруг происходит. Когда я был студентом первого курса медицинского факультета и впервые работал в больнице, там, помню, умирал русский казак. На обходе старший врач остановился у его постели и сказал: «Ну, его и осматривать не стоит, он уже ушел», — и прошел дальше. Этот человек очнулся. Мы с ним говорили по-русски, поэтому он меня знал, и он мне сказал: «Знаешь, когда ты врачом будешь, *никогда* при умирающем не говори, что не стоит на него обращать внимания, потому что он-то тебя слышит, если даже ты не можешь его как-то воспринимать».



У меня был другой случай, тоже во время войны. Попал в больницу раненый немец. Там был молодой протестантский пастор, который, пока тот еще мог воспринимать слово и разговор, читал ему вслух отрывки из Евангелия, с ним молился. Как-то этот молодой пастор вышел из его комнаты в слезах, наткнулся на меня и говорит: «Какой ужас! Этот человек умирает, я больше ничего для него не могу сделать». — «Почему?» — «У нас прекратился разговор, он потерял сознание». Я ему очень резко сказал: «Знаешь что, садись рядом с ним и читай вслух Евангелие на его родном немецком языке, начиная с воскресения Лазаря». И этот молодой пастор в течение трех суток проводил целые дни и часть ночи при нем, то читал, то молчал и так прочел ему все четыре Евангелия. В какой-то момент этот умирающий открыл глаза и сказал: «Спасибо, что вы читали. Я отозваться не мог, но каждое слово до меня дошло, и я вошел в новую жизнь».

Это опять-таки священник должен знать. Причем делать это должен не обязательно священник, это может делать кто угодно, способный уделить свое время тому человеку, у которого времени очень мало.

*В случае с солдатом ты еще не был священником. Как бы ты действовал, если бы уже был священником? Изменились ли бы твоё отношение и действия?*

Нет, я сделал бы то же самое. Он во мне не нуждался как в священнике, потому что он был католик, и там был местный католический священник, навещавший раненых, поэтому пастырской ответственности у меня не было.

Если бы случилось, что он умирал на поле битвы или в таком положении, где до священника его вероисповедания не добраться, я бы его спросил: «А ты верующий?» Если да, то я ему предложил бы молиться вместе. Если нет, я ему сказал бы: «Знаешь, в течение всей нашей теперешней встречи я буду молиться тому Богу, в Которого я верю». Вот и все.

Если бы он меня попросил его причастить и не было бы возможности ему причаститься в своей Церкви, я думаю, что умирающего я причастил бы. У меня был спор с одним священником Греческой Церкви, который мне сказал: «В таком случае вы не православный, вы еретик. Как вы смеее давать Святое Причастие неправославному человеку, не заставив его отречься от его прежней веры?!» Я согласен, что это очень важный вопрос, но, думаю, нельзя пользоваться тем, что человек при смерти, чтобы заставить его отречься от той веры, которая вдохновляла его всю жизнь, которая ему дала Христа. И с другой стороны, если человек с готовностью, с полной открытостью сердца скажет: «Да, я верю, что причащением Святых Тайн ко мне приходит Спаситель Христос, что через Святые Тайны в меня вливается Божественная жизнь», — я не усомнился бы его причастить. Богословски я могу быть прав или неправ, но опыт пяти лет на войне мне показал, что перед лицом реальной смерти стираются многие границы: лицом к лицу со смертью человек вырастает в такую меру, какой он не знал раньше. Я не говорю, что он делается героем, я только говорю, что лишь перед лицом смерти человек может познать свое человеческое достоинство и величие. Отцы Церкви говорили: «Имей память смертную». Это не значило, как многие сейчас понимают: «Всю жизнь думай, что за плечами смерть, — как страшно!» Отцы говорили о другом: о том, что если ты не живешь всем своим существом, всей душой, всем мужеством своим, с готовностью даже умереть, то ты живешь только полужизнью. Один из героев Рабле говорит: «Я готов стоять за свои убеждения до виселицы — исключительно»<sup>60</sup>. Это значит, что он не готов был стоять за них.

*Мы дошли до очень важного момента. Я спрашивал насчет действий священника: как быть, если нельзя употреблять слова. Но все-таки молитва — не простое слово. Как можно с таким человеком молиться, если нет запасных Святых Даров? Как лучше всего молиться? Простыми молитвами экспромтом, чтобы как-то яснее было тому, кто умирает и, может быть, приходит уже в совершенно бессознательное состояние?*

Я думаю, что надо молиться из глубин своего сердца, то есть со всей возможной правдивостью, так чтобы молитва, с одной стороны, была как бы предношением этого человека перед лицом Божиим, с другой стороны — могла дать форму тем чувствам, которые этот человек неминуемо испытывает.

Я когда-то видел фотографию доктора Швейцера, который был миссионером и врачом в Африке, и картина меня захватила. Он стоит с очень значительным лицом, и перед ним маленькая негрятянка держит на руках и поднимает к нему малюсенького ребенка. Она ничего не говорит, но она смотрит ему в глаза так, будто говорит: «Мой ребенок страдает, мой ребенок может умереть, а ты — *все* знаешь, ты можешь его спасти. Я тебе его отдам, возьми его и верни мне здоровеньким!» Мне кажется, что этот образ, эта картина, говорит о том, что называют *заступнической молитвой*. Такая молитва заключается не в том, чтобы Богу твердить: «Сделай, сделай, сделай... сделай...», а в том, чтобы в свое сердце взять этого человека, и стоять перед Богом, и его держать перед Господом, и говорить: «Господи, я *Тебе* его вручаю, без условий, без ограничений, со *всей* (пусть малой) верой, какая во мне есть, ради Твоей любви к нему и ради того, что Ты можешь над ним совершить то, что ему нужно».

Это первое, что мы должны сделать в таком случае, о котором ты говоришь. Умирает человек (потому ли, что на него наехала машина, или потому что его из пулемета ранило насмерть) — ты его первым делом должен взять, принять в себя, не защищаясь против его страхов, его боли, его непонимания, и держать перед лицом Божиим. А второе: ты можешь помочь ему, уже лично, если будешь молиться такими словами, которые для него что-то открывают. Если ты возьмешь молитвенник или служебник и будешь вычитывать канон на исход души на славянском языке, это не дойдет до человека. А если ты просто будешь как бы говорить с Богом... Например: «Господи, вот мы оба перед Тобой. Мы оба стоим перед лицом смерти (в случае войны совершенно ясно, что не только раненый, но и здоровый стоит перед лицом смерти). Вот умирает человек, которого Ты создал, которого Ты вызвал из небытия по Своей любви, Ты в него поверил, Ты вручил ему жизнь, а теперь Ты ему даешь эту жизнь завершить подвигом отдачи этой жизни за ближних своих, за друзей, за Родину...» Я не хочу сказать, что надо молиться точно такими словами, — но в таком настроении. И затем, если ты успел перемолвиться несколькими словами с раненым или умирающим и как-то почуять, насколько он верит, во что он верит, в зависимости от этого его веру как бы выразить с большей силой, чем он может в данную минуту это сделать.

*А если веры нет?*

Если веры нет, ты можешь сказать: «Ты не веришь, а я верю. Я буду с моим Богом говорить, а ты послушай, как мы друг с другом разговариваем». И если это сделать, то часто бывает, что до человека *доходит*. Я не могу логически это объяснить. Очень редко бывает, чтобы умирающий пожал плечами и сказал: «Уходите со своим Богом!» Поэтому я уверен, что молиться надо, но так, чтобы молитва не была человеку оскорблением. Если он скажет: «Только не говорите мне о Боге!» — молчи. У тебя есть сердце, у тебя есть ум, ты можешь предстоять перед Богом и держать этого человека перед Богом. А навязывать Бога в смертный час человеку, когда тот от Бога отрывается сознательно, просто жестоко.

И раньше чем дойти до Бога, мы непременно должны показать наше человеческое сострадание, близость, показать, что мы родные ему, что он нам родной.

*Мимходом у меня возникла мысль по поводу славянского языка. Человек лежит на смертном одре и постепенно тихо уходит. Как насчет славянского языка и сложных молитв в таком случае? Они не доходят, может быть?*

Я думаю, что, если просто взять молитвослов и читать готовые молитвы, это не пойдет. Но, думаю, что не незаконно эти тексты читать, во-первых, заменяя непонятные слова понятными, русскими, во-вторых, прибавляя нечто или убавляя в зависимости от того, кто этот человек, что ты о нем знаешь, — с тем чтобы молитвенные слова стали молитвой, относящейся *лично* к этому человеку. Потому что все наши службы рассчитаны на всех возможных людей на свете, но ни один человек не представляет собой этого «всевозможного» человека. Поэтому иногда проще изменить некоторые слова, чтобы они были понятны, — это раз, а во-вторых, выбирать те молитвы, которые для этого человека могут иметь смысл. Ведь речь идет не о том, чтобы совершить над ним определенный обряд, речь идет о том, чтобы до него дошла церковная молитва, церковная вера, человеческое тепло и любовь, окутанность церковной молитвой. И иногда, если придерживаться просто написанного текста, человек его не может услышать из-за языка, из-за мыслей, которые там есть. Поэтому можно сказать несколько слов из этой молитвы, а потом своими словами их развить. И это не грех, это не неправда. Я помню письмо Феофана Затворника, где он говорит, что мы должны учиться из молитв святых тем чувствам и мыслям, которые в них заключены. Каждая молитва святого говорит нам о том, как он себе представляет Бога и какое общение у него с Богом было, как он себя видел по отношению к Богу и к собственной совести, какое место он занимал по отношению ко всему сотворенному миру. Все это можно узнать из молитв, и постепенно эти молитвы делаются твоими. Но, с другой стороны, когда ты ими молишься, ты должен вложить в них свой личный опыт Бога, сознание себя самого, личное сознание своего положения в мироздании.

В каком-то отношении можно так сказать: употребляя молитвы святых, мы находимся в положении человека, который прислушивается к музыке великих композиторов. Он воспринимает через музыку только то, на что сам способен, то есть у него дрожат в душе те струны, которые уже способны отозваться на многосложность данной музыки. Но по мере того как он прислушивается чаще и чаще, его душа делается более чуткой, и в какой-то момент ему не нужна будет музыка, потому что он сможет перейти из звука в молчание или потому что он воспримет начальные звуки и потом их остановит для того, чтобы ими жить дальше. И Феофан Затворник говорит, что цель употребления молитв святых в том, чтобы потом быть в состоянии переходить не от слова к слову, а от чувства к чувству. Взглянешь на слова — и эти чувства родились в тебе, и ты потом умел бы их своими словами выражать Богу, но на основании тех глубоких, истинных, подлинных чувств, которые святой тебе подсказал.

Это то, что я делаю, например, когда у нас бывают здесь говения<sup>61</sup>. Я провожу одну беседу, потом у нас часовое молчание, потом вторая беседа, другое молчание и затем общая исповедь. На общей исповеди я беру покаянный канон, вычитываю несколько строчек и потом на основании того, что я читал, перед Богом произношу *свою* исповедь. И потом перехожу к следующим строчкам. И так далее.

И я думаю, что то же самое может происходить, когда молишься над умирающим или над больным. Читаешь несколько строчек или несколько слов, они в тебе вдруг рождают живое чувство, которое ты можешь выразить по отношению к этому больному или

умирающему, потому что до тебя «дошло». Знаешь, есть восточное присловье, что, если человек стреляет из лука, он никогда не попадет в мишень, если стрела не пробьет одновременно его сердце. И я думаю, что это очень верное слово. Если то, что ты говоришь, тебя не пробивает, то, конечно, оно ни до кого не дойдет. Это относится и к проповеди, и к вычитыванию молитв, к исповеди и к любому нормальному человеческому общению.

*Ты упомянул исповедь. Мы об этом еще не говорили. Человек умирает. Многие даже нецерковные люди нуждаются в таком исповедальном моменте. Как помочь в этом? Как человека подвести к этому моменту, если он не знает, какими словами пользоваться, если он просто не привык к исповеди?*

Я думаю, что когда времени мало, то нельзя пускаться в полную катехизацию умирающего или больного. Поэтому вопрос стоит так: «Ты сейчас войдешь в вечность. Хочешь ли ты войти в вечность со всем грузом, который ты собрал за свою жизнь? Есть ли такие вещи в твоей жизни — поступки, слова, мысли, — которые ты хотел бы оставить на земле, чтобы они здесь превратились в прах и пыль? Есть ли в твоей жизни такие поступки, такие моменты, которые недостойны тебя самого?»

Это — минимум. Можно прибавить в зависимости от того, кто этот человек: «Есть ли такие вещи, которые тебя заставляют стыдиться перед Богом и думать: как я перед Ним встану, когда я к Нему так в течение жизни отнесся? Так вот, раньше, чем ты уйдешь в вечность, сними с себя эту тяжесть. Скажи: от таких-то и таких-то моих поступков я отрекаюсь, такие-то слова я сейчас не хотел бы произнести, если бы я мог их стереть с доски моей памяти, я бы это сделал. По отношению к Богу — я все время на Него ссылался, и все время Его обманывал, унижал, оказывался Ему неверным. По отношению к людям — я знал, как Бог любит людей, а я относился к ним, будто Бог ни при чем, будто я — бог...» Все это человек может выразить в нескольких словах, и, если не может говорить вслух, он может внутренне сказать Богу: «От всего того, в чем я оказался недостойным ни своего человечества, ни себя, ни родных, ни Тебя, ни людей, которые меня любили, — от всего этого я отрекаюсь, прости!» Это может занять одно мгновение, потому что немного времени нужно, чтобы стряхнуть все это.

*Если такого человека можно причащать, видимо, можно и разрешительную молитву дать вкратце?*

Да, можно помолиться о том, чтобы Господь простил этому человеку все его прегрешения. Формулы бывают разные. Бывает формула, которую мы употребляем: «И аз, недостойный иерей такой-то, властью мне данной прощаю и разрешаю тебя от грехов твоих». Есть просительная формула, которую употребляет Греческая Церковь: «Господи, прости ему все его прегрешения». Есть древняя формула, где говорится: «Прости, Господи, все грехи, в которых он искренне покался». При смерти я бы не употреблял эту последнюю формулу, потому что она может показаться слишком страшной человеку, но я помолился бы: Господи, Ты Свою жизнь отдал для того, чтобы спасти этого человека, — спаси!

*Как должен священнослужитель помочь близким умирающего, которые, может быть, не вполне церковные люди?*

Я думаю, что надо подарить им как можно больше своего времени. Нельзя прийти «профессионально», с ними поговорить и уйти. Надо прийти и с ними побыть, и дать им возможность просто говорить на житейские темы (часто, когда у человека перед глазами

страх, ему хочется поговорить о пустяках). А постепенно ты сможешь обратиться к основной теме: да, жизнь течет, жизнь продолжается, а в сердцевине жизни происходит что-то очень серьезное, — и происходит это и с вами, и с дорогим вам человеком, который умирает... И говорить надо в первую очередь о том, что любовь не может быть побеждена смертью, чтобы никогда никто не смел говорить «мы друг друга любили», а только «мы друг друга любим во веки веков». Я это говорил несколько раз на похоронах: не говорите «мы любили», говорите «мы любим друг друга», потому что человек уходит в вечность, содержание которой — любовь и ничто другое. И вы можете вращаться в эту вечность тем, чтобы в вас любовь не только не умирала, но углублялась, утончалась, делалась более светлой. А для того чтобы это случилось, подумайте: что вас от этого человека отделяет, что в течение многих — или немногих — лет, которые вы провели вместе, являлось как бы тенью в этой любви. И спешите разрешить все существующие проблемы: трудности характера, неприятности, озлобление, раздражение, мало ли что бывает между людьми в течение жизни, — бывают и очень серьезные проблемы. И продумайте, что у вас на совести (или у него, у нее может быть на совести), что между вами стоит преградой к тому, чтобы любовь ликующе текла между вами. И эти проблемы разрешайте не каким-то «деловым» образом, не приходите со словами: «Теперь давай продумаем наше прошлое, с тем чтобы наше настоящее стало чисто и светло», а постепенно, разрешая одну проблему за другой.

Можно сказать: «Я так жалею о том, как я с тобой говорил на этих днях». Или: «Я так жалею, что когда-то мы друг друга не поняли, и это нас разъединило». Мало ли что можно сказать — я даю только жалкие примеры. И так постепенно можно очистить в себе и в другом человеке всю область потемок, или несовершенства в любви, или его страха. Страха: «А вдруг меня в конечном итоге недолюбят, и мне придется умирать одному, именно в сознании, что я один, они со мной не идут в вечность». Об этом можно говорить с очень простыми людьми. Может быть, разными языками, но на их языке, потому что язык любви, привязанности, света, тьмы понятен каждому человеку. И так можно постепенно готовить окружающих к тому, что смерть — не последнее слово: если вы сумеете любить до конца, то ваша любовь не умрет.

И еще можно говорить о том, что будет дальше. Меня очень поражает на похоронах или на панихидах (я всегда об этом говорю перед службой или во время нее): вот, мы собрались здесь. Что нас привело стоять вместе у этого гроба или у панихидного столика? — Любовь. Любовь, которая не умерла со смертью любимого человека...

*Разлука с человеком всегда более приемлема, когда к ней ведет длинная болезнь или старость. Но когда умирает молодой человек или младенец — как тогда можно поддержать родителей, как помочь пережить первоначальный шок?*

Я думаю, как во всех случаях болезни или смерти, первым делом — утешать состраданием и не стараться убедить людей, будто «все это хорошо», — все это очень болезненно, и очень трагично, и очень мучительно, — и с ними этот путь проходить. Человеку нужно, чтобы ты с ним был в его горе, на дне этого горя, и не убеждал его, что горя нет или что он неправ, горюя. И надо дать время благодати и внутреннему опыту человека что-то сделать. Не надо утешать человека пустыми словами. Я помню, как к одной нашей прихожанке, у которой умер ребенок, пришел молодой священник и сказал: «Я так понимаю ваше горе!» Она, человек правдивый и резкий, обернулась к нему и сказала: «Не лгите! Вы никогда не были матерью и никогда не теряли ребенка — вы ничего не понимаете в моем горе!» И он остановился и сказал: «Спасибо вам за это». Вот эту ошибку никто не смей делать! Чужого горя никто понять не может, дай Бог свое горе понять, как-то уловить, овладеть им.

Сказать можно, например: «Подумайте о том, что это молодое существо умерло в полном расцвете всех сил души, ума, в полной чистоте. Этот человек как бы вспорхнул в вечность, и теперь у вас предстатель, ангел хранитель перед Богом, который покрывает вас своей молитвой, к которому вы можете обратиться как бы с разговором и с радостью о том, что когда-то будет встреча». Конечно, нет смысла это рассказывать человеку, который только что потерял ребенка, — это звучит жестоко, но со временем можно поговорить и о том, что, может быть, смерть спасла этого ребенка от чего-то более страшного, чем разлука с временной жизнью. Невозможно дать сейчас достаточно примеров по количеству людей и типам обстоятельств.

*Когда скончался Лазарь, Иисус плакал. Как относиться вообще к слезам, когда утешаешь людей?*

Слезы — дар Божий. Никогда не надо мешать им течь. В этом рассказе (Ин 11:1—44) Спаситель плакал о том, что Лазарь должен был умереть, потому что мир во зле лежит и всякий человек смертен из-за того, что грех владеет миром. Христос тут плакал, я думаю, о Своем друге Лазаре, и в более широком смысле — об этом ужасе: Бог дал всей твари вечную жизнь, а человек грехом ввел смерть, и вот светлый юноша Лазарь должен умереть, потому что когда-то грех вошел в мир... Так что люди имеют право плакать над тем, что смерть скосила любимого, плакать о том, что они остались сиротами. И никто не смей им мешать плакать, это их право. Но между слезами и истерикой или плачем без веры есть громадная разница.

*Есть тоже опасность, что человек, горюя, начинает любоваться: мол, он так любил усопшего, что продолжает месяцами, годами даже, плакать и горевать...*

Я думаю, что, с одной стороны, абсолютно справедливо, чтобы человек до конца своей жизни плакал о разлуке, о том, что больше нет возможности обнять любимого, слышать его голос, видеть его взор, поделиться с ним тем, что на душе самого светлого или мучительного. В этом смысле всю жизнь можно пронести скорбь, но не истерическую, не бунтующую скорбь, а тихую, углубленную скорбь: да, было бы так дивно, если можно было бы продолжать старые отношения, старую дружбу, старое общение (которое никогда не умирает в моей душе, сказал бы этот человек).

Но, с другой стороны, человек не должен как бы искусственно подогревать в себе скорбь и драматическое чувство о смерти другого, считая, будто их отсутствие доказывает, что он не любил. Скорбь должна как бы перелиться в другое: в любовь, которая не кончается, в сознание: я тоже иду по этому пути, мне тоже придет время умирать, и какая тогда будет радость встречи! Тогда скорбь просветляется.

*Человек умирает, и ему страшно по явным причинам. Но и священнику, особенно молодому, может быть страшно. Как ему с собой справиться, чем укрепиться?*

Он должен тогда все свое внимание, через возбуждение в себе сострадания и понимания, обратить к этому человеку. Если за него болеть душой, если его жалеть, если думать: «У меня нет слов, нет знаний, но у меня есть ласка, у меня есть тепло, я этим могу поделиться», если не искать умных формулировок, не искать каких-нибудь доводов, а просто пожалеть и приласкать — все сделано. Надо иметь одно правило через всю жизнь: что единственный миг, которым ты обладаешь, — теперешний миг. Ты никогда не можешь рассчитывать на то, что через мгновение успеешь еще что-нибудь сделать. Священник, опытный или неопытный, должен знать: он сейчас стоит в вечности, в которой время не течет, но время течет на земле, и поэтому он может стать и, не считаясь

с течением времени, делать то, что нужно. Иногда можно сказать одно-единственное слово — и человека спасти, иногда можно сказать целую речь — и до человека не дойдет.

С собой священнику некогда справляться. Если он заглядится на себя, то ему некогда заботиться о другом. Поэтому в момент, когда происходит трагедия, он должен просто сказать: о себе я буду думать позже, я буду разбирать свои переживания, когда я уже не буду нужен этому человеку.

Я могу дать пример из другой области. Когда хирург оперирует больного, раненого, ему некогда думать о себе, он должен забыть про себя и всецело уйти в свою работу. Причем «забыть про себя» означает, что сейчас идет обстрел, а он в состоянии сказать: убьют меня или не убьют — мне до этого никакого дела нет, я занят *этим* человеком... Надо себя так прошколить. Конечно, это не всегда и не в каждый момент удастся. Есть моменты, когда ты себя вспомнишь, но тогда можно сказать: «Отойди вон, ты мне мешаешь делом заниматься!» И этому надо научиться. Молодой хирург тоже в таком положении.

*Со смертью умирающего кончаются обязанности священника. Я говорю «обязанности», как будто это должность какая-то, но он может и дальше действовать. Во-первых, поминать покойника, если запомнит его имя, на службах и вообще в молитвах. Но если есть родственники, близкие, он может и должен их посещать и успокаивать. Какие тут советы?*

Во-первых, он никогда не должен ставить себя в положение учителя. Не надо делать вид, будто потому, что ты священник, ты понимаешь то, чего никогда сам не испытывал. Это раз. Второе: у тебя должно быть собственное отношение к смерти. И это одна из задач нашей христианской жизни: привыкнуть к мысли о смерти, знать, что она есть, знать, как ты к ней относишься. Скажем, апостол Павел говорил, что ждет свою смерть, потому что только через смерть он соединится со Христом без телесных, вещественных преград. И тут же он прибавляет: однако для вас нужнее, чтобы я остался в живых, поэтому я буду дальше жить (Флп 1:21—26). Вот предел. Если бы мы действительно мечтали о живой встрече с Богом, не о встрече через веру, через мгновенные переживания, а о постоянном приобщении Ему, то мы могли бы мечтать о смерти, жаждать смерти и одновременно быть готовыми не умирать — ради Христа.

*А как можно такое отношение передать?*

Видишь ли, для того, чтобы передать что-то, надо в себе это носить. Я потому настаиваю на этой стороне, что критерий того, христиане мы или нет, — наше отношение к собственной смерти, к смерти дорогих нам людей. Если мы созрели в какой-то мере или если мы в процессе созревания, можно человеку сказать: «Да, это страшная утрата, но он ушел от вас к Богу, Который его так полюбил, что вызвал его из небытия, а теперь призвал к Себе, чтобы он был с Богом неразлучно. И если вы хотите, чтобы смерть вашего родного не была разлукой, то вы должны перенестись молитвой, духом, опытом в область Божию. Он вам показал путь, по которому вам надо идти. Если вы хотите с ним быть, вы должны быть там, где он есть, то есть с Богом» (конечно, я не говорю, что надо в таких резких словах выражать эту мысль).

И с другой стороны, очень помогает потерявшим родного наша панихида. В ней содержатся самые разные моменты. Святитель Феофан Затворник начал одно отпевание словами: «Братья и сестры, давайте плакать, потому что ушел от нас любимый человек, но давайте плакать как верующие». Мы плачем над усопшим, потому что человек не призван к тому, чтобы умереть, — человек призван к вечной жизни. Смерть вошла в жизнь через

человеческое отпадение от Бога, поэтому смерть как таковая — трагедия. С другой стороны, она — освобождение. Если бы надо было жить, никогда не умирая, в той ограниченности земной жизни, которую мы знаем, был бы неизбывный кошмар. Поэтому, скажем, в отпевании повторяются слова псалма: *Блажен путь, которым идешь сегодня, душа, ибо тебе приготовлено место упокоения...* Эти слова обращены от имени Церкви к усопшему, но и к тем, кто их слышит. И есть целый ряд мест в службе, где усопший как бы говорит: *Не рыдайте обо мне*<sup>62</sup>.

## О стигматах<sup>63</sup>

Предметом моего доклада являются подлинные стигматы мистиков, а не тема (также интересная и входящая в ту же проблематику мистики, будь то нормальной или патологической) искусственных стигматов при психопатиях. Я дам определение стигматизации, укажу ее характерные особенности, а затем постараюсь перенести ее в контекст, который, быть может, позволит нам сделать какие-то выводы о ней.

Стигматизация заключается в том, что в теле человека, мужчины или женщины, отпечатываются особые знаки, называемые стигматами и воспроизводящие раны, которые были нанесены Христу во время Его страданий. В полную картину этих знаков, этих ран входят четыре сквозные раны на руках и ногах, рана в правом боку от удара копьем, нанесенная сотником, раны от тернового венца, следы бичевания и след подкожного кровоизлияния на плече от несения креста. В исключительных случаях наблюдаются все знаки; чаще всего встречаются только следы гвоздей и рана от удара копьем, реже — менее глубокие и более многочисленные ранки от тернового венца и, наконец, еще реже — следы бичевания и след от несения креста.

Внешний вид стигматов бывает различным, и, в частности, следы гвоздей бывают трех видов. Иногда это сквозные раны рук или ног, в других случаях это поверхностные раны на ладони и ее тыльной стороне или на подошве и верхней части ступни, оставляющие неповрежденной среднюю часть руки или ноги, то есть мускулы и все, чего не видно под кожей. Еще в других случаях это уже не раны, а наросты, более или менее квадратной формы, воспроизводящие форму шляпки гвоздя на ладони и на верхней части ступни и острия гвоздя с тыльной стороны руки и на подошве.

Наряду с этими стигматами, которые строго отвечают точному и ограничительному определению, данному мной (то есть отпечатку в человеческом теле особых знаков, воспроизводящих раны, нанесенные Христу во время Его страданий), и которые называются *подражательными*, или *изобразительными*, потому что являются подражанием или изображением ран Христовых, встречаются также описания других стигматов: это символические стигматы, стигматы на внутренних органах, а также духовные стигматы; чтобы перечень был полным, надо указать на *стигматизм* — определение, под которым имеются в виду кровавые слезы и кровавый пот.

Прежде чем обратиться к основному предмету моего доклада — подражательным, или изобразительным, стигматам, несколько слов о символических и других стигматах второстепенного характера.

*Символические* стигматы — это отпечатки на коже христианских символов: крестов, цветов, слов, и ценность их для серьезного исследования спорна прежде всего потому, что имеющиеся их описания очень древни и требуют осторожного подхода; уже беглое знакомство со средневековыми документами, дающими их описание, показывает, что даже произведения, отличающиеся тонкой наблюдательностью, тонким анализом и



смелостью мысли, в некоторых местах слепо повторяют самые невероятные суеверия и самые чудесные легенды, столь же живописные, сколь невероятные и неприемлемые для здравой веры. Они относятся к житийному фольклору и представляют интерес как фольклор, но вряд ли приемлемы при научном подходе к нашей теме. Есть и вторая причина, которая заставляет ученых нашей эпохи, не только принадлежащих к нехристианскому или атеистическому миру, но и тех, кто принадлежит к миру христианскому, таких, как профессор Жан Лермит (он был психиатрическим экспертом при Парижской Архиепископии в тот момент, когда я слышал его первый доклад о стигматах в 1941 году), отвести эти символические стигматы. Эта вторая причина заключается в том, что символические стигматы точно совпадают с дермографическими явлениями у истериков, описанными Шарко. Не думаю, что нужно входить в подробности этой частной темы, ибо не эти стигматы являются опытом великих святых Западной Церкви.

*Висцеральные* стигматы совершенно сходны с только что описанными, но — факт более удивительный, — вместо того чтобы отпечатываться на внешних покровах, они появляются на внутренних органах, печени, сердце, аорте; описания их также очень древние; некоторые авторы утверждали, что Игнатий Богоносец называется так, потому что в его сердце золотыми буквами было написано имя Христово, но, думаю, все согласится, что есть масса иных причин называться ему Богоносцем, и причин гораздо более высокого порядка. Тот, кто изучал человеческое сердце с его мышцами, клапанами, тяжами, не станет сомневаться, что с одинаковой доброй волей там можно прочесть любую надпись или отрицать ее наличие. По поводу этих стигматов как нехристианский, так и христианский мир единодушны во мнении: их следует отнести к области христианского мифа. Они могут оставаться предметом веры, они могут также подвергаться недоверию, но нет повода верить в них или отрицать их с научной точки зрения.

*Духовные* стигматы иногда невидимы для окружающих, но видимы для человека, получившего их; примером служит святая Екатерина Сиенская, а также мистическое кольцо великомученицы Екатерины; иногда их можно чувствовать лишь на ощупь, чаще же всего они дают себя чувствовать болью.

Обратимся теперь к единственно достоверным стигматам, а именно — *подражательным*, а также к обстоятельствам их возникновения. Возникновение их всегда внезапно, хотя ему и предшествует ряд подготовительных явлений. После того как они появились, в них можно наблюдать ряд изменений; прежде всего это колебания: стигматы то ясно видны на коже (или, при сквозных стигматах, в тканях), то видны с гораздо меньшей ясностью. Эти колебания не случайны, они обусловлены временем года. Стигматы гораздо яснее выступают в пятницу, и особенно в Страстную пятницу. Второе: кроме колебаний периодически наблюдаются кровотечения, они то отсутствуют, то становятся сильными, что также связано с пятницей и со Страстной пятницей. И, наконец, боль. Боль очень характерна для этого явления, она очень часта, хотя не всегда непрерывна и наблюдается не во всех известных случаях.

Боль — как бы подготовительное явление, и иногда все ею и ограничивается: ни раны, ни знаки могут не появиться, но чаще боль именно предвещает появление видимых стигматов. Во время долгого периода, предшествующего появлению стигматов, боль ощущается на тех местах, где позже они появятся. Пока видны стигматы, боли бывают постоянными. Они очень сильны, гораздо сильнее, насколько можно судить с медицинской точки зрения, чем при простых ранениях. В связи с этим современные

ученые думают, что это не простое поражение мягких тканей, то есть мышц и кожи, но что поражены также и нервы, и это делает боль сильнее, чем при ранении мышц.

Следующее, что надо подчеркнуть, это возможность выздоровления; оно может быть периодическим — и тогда мы имеем дело с колебаниями, о которых я говорил выше: стигматы видны в течение нескольких часов или дней в те периоды, когда внимание стигматизованного или внимание Церкви особым образом обращено на страдания Христовы, то есть в пятницу каждой недели и особенно в самый день Страстей — Великую пятницу. Выздоровление между этими периодами возможно; не так редки случаи, когда стигматы совершенно исчезают на целый год и вновь появляются только в следующую Страстную пятницу. Выздоровление может быть и окончательным. Носитель стигматов может перестать быть стигматизованным; в обоих случаях, будь то временное или окончательное выздоровление, характерна совершенно особая черта: после исцеления не остается никаких рубцов, на коже стигматизованного нельзя найти никакого следа стигматов там, где всего несколько дней назад они были видны со всей ясностью.

И, наконец, стигматам предшествует несколько явлений, которые важно отметить. Я только что сказал, что появление их бывает внезапным, но ему предшествует период, который некоторые ученые называют *инкубационным*, или *периодом медитации*. В это время кроме уже упомянутой боли наблюдаются частые экстазы, бесовские явления: внешние, материальные нападения или внутренние искушения примерно в половине известных случаев, а еще чаще — параличи и судороги. И, наконец, в значительном ряде случаев — и некоторые из них широко известны — наблюдается то, что ученые называют *inédit*, то есть человек живет несмотря на то, что не принимает никакой пищи или получает только причастие, то есть гостию<sup>64</sup>. Анджела де Фолиньо жила так в течение двенадцати лет, Екатерина Сиенская — восемь лет, без потери веса и без недомоганий — в той мере, в какой это можно было наблюдать в некоторых современных случаях, например Катарины Эмерик, Терезы Нейман и других.

Интересная сторона вопроса, вероятно, недостаточно исследованная, так как наблюдать ее не так просто, — это среда, в которой живет стигматизованный. По-видимому, необходима среда, способная пробудить и поддерживать определенную форму благочестия — благочестия, которое было бы чувствительным, эмоциональным. Такое специфическое благочестие, свойственное стигматизованным мистикам, может культивироваться либо по аналогии, либо по контрасту. Это может быть особо чувствительная и эмоциональная среда, которая разовьет те же характерные свойства у данного молодого монаха или молодой женщины, но это также может быть особенно жесткая и холодная среда, которая вызовет бурную ответную реакцию.

Постоянный характер и значительность проявлений соматической, то есть телесной, неуравновешенности справедливо побуждает к изучению стигматических явлений с точки зрения психофизиологической. Но является ли такое побуждение, естественное со стороны ученого, биолога, врача, допустимым с точки зрения веры?

Факты свидетельствуют, что в Западной Церкви такие исследования допустимы и практиковались. Я упоминал о Жане Лермите, который был одним из крупнейших профессоров психиатрии Парижского медицинского факультета еще двадцать лет назад и одновременно состоял экспертом-психиатром при Парижской Архиепископии. Существует ряд трудов, написанных римокатоликами, в частности одним англичанином-иезуитом, чей труд чрезвычайно убедителен и чрезвычайно «жесток» и точен с научной точки зрения; такие исследования Римская Церковь считает допустимыми. Мы уже упоминали частые экстазы в фазе медитации, предшествующей появлению стигматов;

экстазы сопровождаются видениями, и совокупность экстазов, видений и их истолкований этими мистиками послужила основанием для появления внутри Церкви большого числа стигматизованных. Как судит Западная Церковь об этих видениях, можно себе представить из слов Пурра: «У великих мистиков существует определенная склонность истолковывать всякое свое вдохновение как подлинное откровение, но их заявления не следует принимать буквально», и несколько дальше: «Разумеется, мы не можем принять все откровения святой Бригитты как продиктованные Самим Богом. Различие между тем, что исходит от Бога, и тем, что присуще самому мистик, сделать почти невозможно; когда речь идет о частных откровениях, только Церковь могла бы успешно разрешить этот вопрос. Обычно она ограничивается утверждением, что откровения, представленные на ее суд, ни в чем не противоречат ее учению». Эта чрезвычайно сдержанная позиция показывает, что само явление стигматизации и совокупность каких бы то ни было возвышенных явлений не принимаются Римской Церковью как доказательство чего бы то ни было, и, следовательно, здесь целая область, которая не принадлежит позитивному суждению Церкви и которая может быть объектом исследования.

Приведенные примеры показывают, что в эту как будто совершенно сверхъестественную область Римская Церковь вводит критический анализ и что даже с ее точки зрения — что очень важно, ибо носители стигматов принадлежат, можно сказать, все к римскому миру, — изучение этих явлений при помощи точных наук не означает разрыва с духом здорового богословия.

За последние 70—80 лет было сделано много попыток построить теории, объясняющие, проясняющие феномен стигматизации. Телесные явления, сопровождающие мистическую жизнь такого типа, оценивались различно; и согласно оценке органических нарушений у стигматизованных или хотя бы органических явлений, поддающихся наблюдению, сформировались две, можно сказать, противоположные концепции: согласно одной — это патология, согласно другой — духовность. Можно много сказать о патологических теориях стигматизации, но они увели бы нас очень далеко в чистую физиологию. Поэтому я обращаюсь к другим концепциям, ибо к ним мы можем подойти с точки зрения веры и богословия. Я хотел бы прежде всего привести две цитаты. Одна принадлежит святой Хильдегарде, которая говорила: «Если бы мы действительно любили Бога, мы не были бы так здоровы». Другая же цитата взята мной из заключений австрийского епископа Франциска Ксаверия Лонгина, сделанных им по поводу одной молодой тирольской стигматизованной, Марии фон Мёле: «Болезнь Марии фон Мёле, конечно, не является святостью, но и глубокое ее благочестие также не является болезнью». Это чрезвычайно уравновешенное, здоровое суждение, которое наряду со словами святой Хильдегарды может подготовить почву для лучшего понимания вещей.

Среди богословов и религиозных ученых, которые рассматривают соматические нарушения как признак борьбы между организмом, через грех потерявшим способность к духовной жизни, и душой, тяготеющей осуществить в полноте свои стремления, нет полного согласия, но в основном они утверждают: человеческий организм, человек в его целостности — душа и тело — в силу того, что он принадлежит к греховному миру и сам грешит, не способен осуществить устойчивую жизнь в Боге, не пройдя сначала через стадию более или менее обостренной неуравновешенности; происходит рост духовного элемента, глубоко потрясающий физические, а зачастую и чисто психологические основы, до момента, когда устанавливается новое равновесие, когда благодать, жизнь в Боге сообщает гармонию всему, что перед этим было перевернуто и нарушено.

Это основное положение, но существуют два различных понимания стигматизации, которые если и не противоречат одно другому, то и не совпадают друг с другом. Одни

считают, что стигматизация сверхъестественна и ничего общего не имеет с природой: она проявляется в человеческом теле, но не вызвана никакими явлениями внутри тела. Согласно этой концепции, здесь действует одна лишь благодать, она пронзает стигматизованного наподобие жала: стигматизованный — это раненый. Согласно другой концепции, носящей сложное название *диапсихофизиологической*, стигматизация происходит через посредство («диа») психологических и физиологических явлений. Я хотел бы сразу подчеркнуть, что, утверждая, будто стигматизация — результат явлений, имеющих место в человеке, а не поражение благодатью, мы отнюдь не умаляем стигматизацию и не бросаем тень на духовную ценность носителя стигматов. Как мы сейчас увидим, стигматизация, будь она даже физиологического и психологического происхождения, предполагает духовность определенного свойства и не может иметь места вне этой духовности. С другой стороны, интерес этой концепции заключается в том, что она предполагает особую ценность и значение человеческого тела, гораздо большие, чем первая концепция, ибо здесь тело не только «жертва» духовной жизни, харизматического воздействия, но и участник в этом действии. И тогда в первом случае стигматизация представляется особым даром благодати: если считать, что стигматизованный поражен благодатью, ценность стигматизации харизматическая; если же принять диапсихофизиологическую теорию, то стигматизация, хотя и является результатом воздействия благодати, но не как силы, внешней для человека: стигматизация — акт воли Божией, но появление стигматов происходит посредством естественных механизмов. Выбор между этими концепциями всегда почти произволен, он зависит от оценки данным богословом или данным ученым стигматизации с духовной точки зрения. Если мы возьмем за исходную точку харизматические ценности, мы придем к иным представлениям, чем если будем рассматривать стигматизацию как явление мистическое, как явление человеческое или просто патологическое.

Теперь я хотел бы обратиться к стигматизации и тому, что ее окружает, с тем чтобы попытаться прийти к каким-то выводам. Прежде всего, считается, что стигматизация — одна из особенностей благочестия Церковью Запада, и в значительной степени это верно, хотя и не до конца. Известен случай православной болгарки, получившей стигматы в (не помню точно) XVIII или XIX веке. Тут исключается, что эта женщина могла пассивно воспринять западные представления — они были ей недоступны. И скорее чем рассматривать ее как исключение, подтверждающее правило, мне кажется, этот пример — лишнее указание на то, что стигматизация является плодом не философских воззрений, но особого рода благочестия. Это мнение, по-видимому, подкрепляется еще более удивительным случаем: в 1940 году было сделано сообщение о стигматизованном, принадлежащем к одной из монофизитских Церквей; в этом случае стигматизация является богословским абсурдом, ей нет места, однако она произошла, и при изучении дела ясно, что вся духовность этого человека была пронизана тем эмоциональным, чувствительным благочестием, какое свойственно всем случаям стигматизации, которые мне пришлось изучать.

Другой момент: по мнению профессора Лермита, неудивительно, что христиане особых достоинств были отмечены стигматами, ибо, по его словам, христианство — это религия страдания и вместе с этим жалости, сочувствия к воплотившемуся Богу, страждущему в Своем человечестве. Вряд ли здесь уместно обсуждать, насколько такое определение христианства недостаточно или ошибочно: всем известны места Священного Писания, где нам заповедано всегда радоваться (1 Пет 4:13; Флп 3:1; 4:4; 1 Фес 5:16), обетование Христа о том, что радость наша будет совершенной (Ин 15:11; 16:24). С точки зрения стигматического феномена не важно, является или нет христианство религией страдания, достаточно, если таковы религиозные представления стигматизованных, чтобы они стали исходной точкой этого явления и служили объяснением при нашем изучении его. Если

бы, как и профессор Лермит, стигматизованные воспринимали христианство как религию страдания, они должны были бы быть подвижниками страдания, подвижниками искупительного покаяния; характерным же для них является не покаянная настроенность и не страдальчество, а то состояние, когда человек в тайне взаимной любви общается со Христом. Стигматизованные — не подвижники страдания, а подвижники любви. Если мы обратимся к подвижникам страдания, то обнаружим не стигматизованных, а распинающихся, и мы имеем примеры людей, для которых покаяние и распятие были понятия тождественные, но духовность их не была полна радости и ликования, какие мы встречаем у большинства стигматизованных, ибо главный элемент у последних — не покаяние, не страдание, но действительно переливавшаяся через край любовь к Господу, стремящаяся разделить все, что составляет Его жизнь и Его страдание, все стигматизованные были мистиками любви, подвижниками *сострадания*. Существует основное различие между жадой искупительного страдания и *состраданием* мучениям Христа: человеческая энергия, направленная к определенной цели, является движущей силой первого, любовь, не претендующая ни на что, кроме как на право любить и участвовать во всем, что составляет жизнь любимого, определяет *сострадание* и является самым существом его. Первое — все страдание, а радость его — только в терпении настоящего с надеждой на будущее, второе обостряет собственное страдание до страстной реакции на страдание другого человека, но извлекает из этого разделенного страдания невыразимую радость. Вот что говорит святая Бригитта: «Я испытывала такую сладость от созерцания ран Жениха моего, что всю меня иногда охватывал огонь любви и умиление вызывало у меня потоки слез». Святая Гертруда говорит: «Сердце Иисуса — как музыкальный инструмент для того, чтобы воспеть славу Святой Троицы». Этот элемент любви и участия является самым существенным. Любовь и страдание, соединенные и доведенные до предела, страдание и любовь в крайнем порыве человеческой страсти, в обоих смыслах слова «страсть», но *сострадание*, стремление разделить страдание возможно по отношению ко Христу лишь в той мере, в какой оно относится к Его человечеству: божество Христа остается за пределами нашего *сострадания*, ибо Бог не страдает.

Если мы попытаемся хотя бы вкратце установить генезис стигматизации с мистической ее стороны, можно проследить несколько стадий. Первая, мне кажется, начинается со святого Бернара Клервоского, и в этой стадии все внимание обращено не на Воплотившееся Слово в целом, а прежде всего и отдельно на Его человечество, с тем чтобы путем духовного восхождения подняться к божеству Христа. Позже то, что для Бернара было стадией развития, для других, не достигших его уровня, стало пределом их опыта. С Гертрудой Великой в начале XIII века появляется благочестие, с одной стороны, эмоциональное, с другой — спекулятивное, и мы находим у нее ряд высказываний, из которых видно, насколько она сосредоточена на сердце Иисуса, на теле Христа, на Святых Дарах. И, наконец, следует целая школа, сложная, богатая примерами святых (и мужчин, и женщин), полностью сосредоточенных на проблеме тела и своих реакций на тело Христа. Я хотел бы привести достаточно яркий пример, но таких примеров (я чуть не сказал: один ужаснее другого) огромное количество. «Однажды я была восхищена в духе, — говорит святая Анджела де Фолиньо, — образ Человека-Бога предстал передо мной снова в момент Его снятия со Креста, кровь только что пролилась, была свежей, красной, текла из открытых ран, только что вышла из тела, и тогда в суставах я увидела такую муку, я увидела такое напряжение жил и кости, настолько смещенными усилиями палачей, что меч пронзил меня насквозь, и когда я вспоминаю боли, испытанные в жизни, я не нахожу ничего равного этой боли». Другая цитата, столь же реалистичная, принадлежит той же святой: «Когда я стояла в молитве, Христос явился мне и дал мне более глубокое знание о Себе. Я не спала, Он позвал меня и велел приложить мои губы к ране в боку, и мне показалось, что я приникла губами и пила кровь, и поняла, что омыта в этой еще теплой

крови». Можно было бы привести бесчисленные примеры этого жестокого, волнующего или даже ужасного реализма у других представителей той же эпохи.

Теперь, мне кажется, пора заканчивать доклад. Если от изобразительных стигматов, о которых я говорил, мы обратимся к другим, упомянутым мной, например кровавому поту и слезам, мы увидим, что это область, известная не только мистикам, но и обычному наблюдателю. Современная наука, говорит Лермит, свидетельствует, что, без сомнения, эти явления могут возникнуть на почве чрезвычайно насыщенных эмоционально представлений. Мы знаем также, что известное количество явлений может быть вызвано гипнозом, мифоманией<sup>65</sup>, питиатизмом<sup>66</sup>; для понимания нашей темы существенно, что все эти явления могут вызвать реакции совершенно за пределами представлений и понимания самого человека; аффективный шок, вызывающий обращенность на себя и соматические реакции, может вызвать дальнейшие соматические реакции, совершенно не свойственные человеку, например частичный паралич, который невозможно вызвать актом воли; это сложный механизм, принадлежащий области психологии и порождающий явления, которые невозможно ни придумать, ни предвидеть.

Процесс же стигматизации гораздо проще. Тут эмоциональность, напряженная до максимума, охватывающая всего индивидуума, сосредоточенная на том, что составляет существо его жизни, то есть на его вере, религии, его Господе, вечной жизни и Том, Кто умер на кресте. Эта эмоциональность направлена на определенный объект, до конца известный благодаря множеству изображений: нет недостатка в рассказах, нет недостатка в образах, нет недостатка в литургических текстах, питающих эти представления и образы, и она вся устремлена к определенной цели в конкретном, хорошо знакомом ее выражении. А сосредоточенность мысли на определенном объекте может, как известно из опыта, вызвать отпечаток его на теле. Это приводит нас к мысли, что, быть может, мы имеем здесь дело с психофизиологическим явлением, но если это и *может быть* так, то это не значит, что так оно и есть.

Существует, однако, чрезвычайно симптоматичный момент, о котором я еще не упоминал: нет единой стигматизации, но есть много стигматизаций. Если бы стигматизация была действительно харизматическим явлением, если стигматы — поражение благодатью, каждый из стигматизованных носил бы раны Христа в том виде, как они были нанесены Христу. В тех же наблюдениях, которыми мы располагаем, мы видим иное<sup>67</sup>. И если мы зададим себе вопрос, в чем состоит их механизм, то в некоторых случаях его можно восстановить. Профессор Лермит, проводивший исследования в этой области, смог выявить в отношении некоторых святых, чья стигматизация известна и чьи изображения Распятия мы располагаем, что их стигматизация воспроизводит эти изображения, а не объективное расположение ран на теле Христа. Больше того: она не только воспроизводит их изображение Распятия, но всегда наблюдается также то, что ученые называют теперь явлением инверсии: стигматы расположены так, как если бы на тело стигматизованного наложили лицом находящееся перед ним Распятие, и то, что на Распятии находится справа, на теле стигматизованного оказывается слева. И это явление говорит нам не о мистике Креста, а о мистике изображения Распятия, и мы видим, как внимание будущего стигматизованного, напряженное со всей интенсивностью его веры, желание участвовать в страдании любимого, обращены не на созерцание объективного Креста, на котором умирает Воплотившееся Слово, а на конкретное изображение Распятия, находящееся перед ним и отпечатывающееся в его плоти.

Вот что я хотел сказать о стигматизации. Я хотел бы сказать и больше, но у меня заняло бы добрый час изложение контекста духовности, в котором развивается и на котором основывается это явление. Думаю, что сказанное мною не страдает отсутствием

благоговения, несмотря на выводы, к которым я вас привел, и я хотел бы подчеркнуть, что эти выводы не являются критическими выводами православного, обращающегося к римокатоликам, — они далеко не достигают той жесткости, которой отличаются заключения ряда священников-физиологов Римской Церкви, писавших на эту тему.